Reprint

СМЕНА ВЕХ

сборник статей:
Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова,
С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева-
-Пушкина, С. С. Чахотина и
Ю. Н. Потехина.

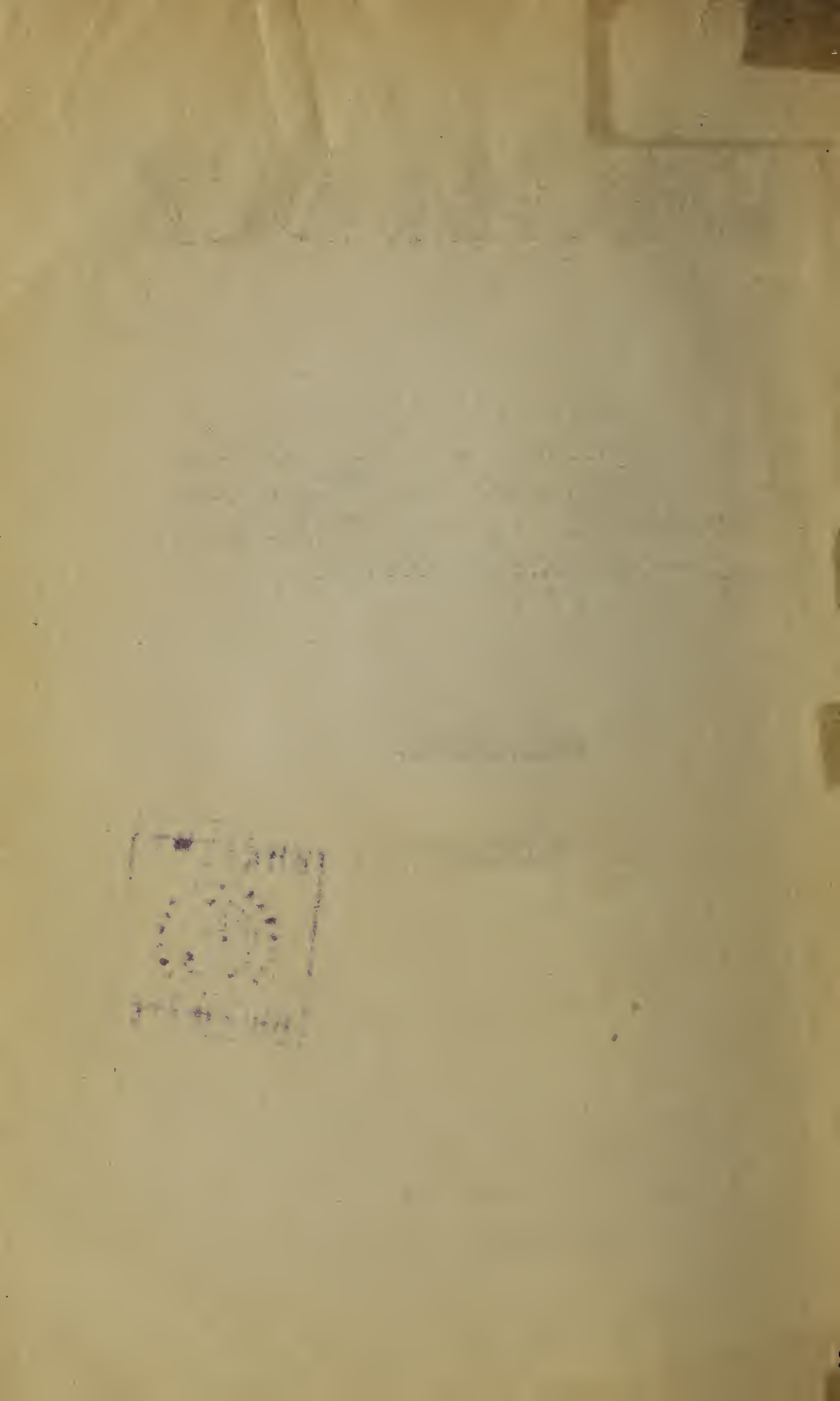
ИЮЛЬ 1921 г.

ПРАГА



Переиздано Заводоуправлением
Полиграфической Промышленности
гор. Смоленска

ЯНВАРЬ 1922 г.



СМЕНА ВЕХ

сборник статей:
Ю. В. Ключникова, Н. В. Устрялова,
С. С. Лукьянова, А. В. Бобрищева-
-Пушкина, С. С. Чахотина и
Ю. Н. Потехина.

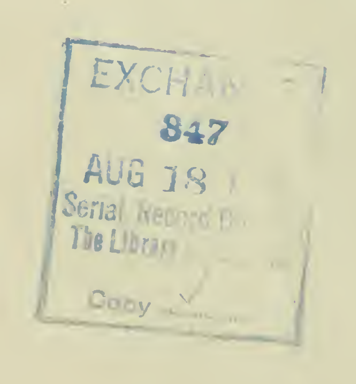
ИЮЛЬ 1921 г.

ПРАГА

Переиздано Заводоуправлением
Полиграфической Промышленности
гор. Смоленска

ЯНВАРЬ 1922 г.

Р. В. Ц. № 6.



Тираж 7500 экз.

СМЕНА ВЕХ.

I.

Многим памятен, конечно, сборник «Вехи».

Это было в 1919 году. Семь авторов с крупными литературно-общественными именами—Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, А .С. Изгоев, Б. А. Кистяковский, П. Б .Струве и С. Л. Франк—об'единились вместе, чтобы вынести свой приговор над русской интеллигенцией. Об'единились, но каждый остался сам собой. Как выяснилось позже, не все даже знали до выхода книги, что будет в ней написано другими. От судей требовалось лишь одно: их приговор должен был быть приговором не злобы, а справедливости. Единое чувство двигало всеми семью: «боль за прошлое и жгучая тревога за будущее родной страны». Единою мыслью хотели они пронзить себя и других приговоренных:—«*путь, которым до сих пор шло русское общество, привел его в безвыходный тупик*». Нужно круто повернуть. Не медля ,нужно вступить на новый путь. Нужны—Боже, до чего нужны!—иные вехи.

Я только что перечитал весь этот сборник от первой страницы до последней. С напряженным вниманием перечитал, порой с волнением. Не странно-ли? через двенадцать-то лет. Когда столько воды протекло по рекам, столько крови впиталось в землю. Когда такие вихри пронеслись над Россией и над всем миром, готовые нестись и дальше и снова. За это время, по уверениям знатоков, не только интеллигенции не осталось у нас («жалкие остатки»—называют они самих себя), но и России. Так не странно-ли, в самом деле: если уже нет больше России, так стоит ли перебирать в памяти старые наши интеллигентские распри, оживлять в памяти нюансы интеллигентского самобичевания и самолюбования?

Однако, осторожнее с теми, кто говорит, будто Россия умерла. У них есть задняя мысль. Они напряженно хотят воскресить мертвую Россию и за это заставить ее потом жить такою, как *им* нравится. Они совершенно твердо уверены, что так или иначе, но им скоро предстоит творить чудо воскресения. Значит, нужно запасаться какими-то молитвами и заклинаниями. Какими же именно? Не теми-ли, что вдохновляли в 1909-м году «веховцев»?

Другие верят, что Россия воскреснет, не умерши. Она уже воскресает. День ото дня ей легче. Вот-вот она позовет их к себе. А уж если позвала, то факт, что и воскресла окончательно. — Позванные не замедлят явиться и приступить к делу. То-то закипит работа, то-то раскрылся простор проводить программы! Только вот в чем вопрос: кто, собственно, эти другие и что у них за программы? Не будут-ли это в первую очередь те, кто организованным строем двинул на сборник «Вехи» свои собственные сборники и чьи идеалы не раз уже безуспешно пытались соблазнить русскую революцию? Иначе говоря, не будут-ли это самоуверенные противники «Вех»?

Многим памятно, наверное, какое волнение поднялось в русском обществе лишь только «седмь громов проговорили голосами своими». Либеральная русская интеллигенция ответила «Вехам» внушительным томом «Интеллигенция в России». Авторы: — К. К. Арсеньев, Н. А. Гредескул, М. М. Ковалевский, П. Н. Милюков, Д. Н. Овсянико-Куликовский, И. И. Петрункевич, М. А. Славинский и М. И. Туган-Барановский. Социалисты - революционеры тоже не остались в долгу. Их ответ «Вехам», совсем уже внушительный по количеству букв, страниц и по формату, был озаглавлен: «Вехи, как знамение времени». Здесь статьи: — Н. Авксентьева, Ю. Гарденина, Я. Вечева, Н. Ракитникова, М. Ратнер, Л. Шишко и др. Не лишне вспомнить и некоторые доклады и диспуты. Например, доклады Д. С. Мережковского и Д. В. Философова в Религиозно-Философском Обществе Петрограда. Или диспут Исторической Комиссии Учебного Отдела О. Р. Т. З. (Москва).

Вихрь революции дерзко разметал и перепутал все наши общественные созвездия. Но вовсе уничтожить всю нашу общественность он не сумел, да и не хотел, повидимому. От каждого созвездия он оставил минимум по одной звезде, зато самой яркой. От каждого сборника взял по одному самому характерному автору, да и сделал их министрами. Ненадолго. Точно на пробу. Точно хотел сказать: — «Вот они, неизменные что бы ни случилось; — всегда себе равные, чего бы это им ни стоило».

От «Вех» революция взяла в министры П. Б. Струве.

От «Интеллигенции в России» — П. Н. Милюкова.

От «...знамения времени»—Н. Д. Авксентьева.

А когда все они побывали министрами, сколько и когда им полагалось, история назначила их знаменосцами трех главных полков русской контр-революции: консервативного полка, либерального и умеренно-революционного (псевдо-революционного). Еще много, очень много русских интеллигентов по прежнему готовы итти за этими знаменосцами. С прежним упованием стараются они смотреть на старые знамена. Но разве не смущена их душа? Разве не испытывают они сейчас особенно мучительной «боли за прошлое и жгучей тревоги за будущее родной страны»? Разве не грызет их, как еще никогда, сознание ,что «путь, которым до сих пор шло русское общество, привел его в безвыходный тупик»?

Теперь ясно, надеюсь, почему в столь неурочный, казалось бы, час мне вспомнился маленький сборник семи авторов, изданный двенадцать лет назад.

Я вспомнил о «Вехах» потому, что и сейчас еще для весьма многих они невольно являются вехами. Я вспомнил о них еще потому, что не могу не думать неотступно об их противниках, которые действуют и сейчас. Пожалуй, лучше всего сказать так: «Вехи» вместе со всеми врагами их это вся та русская общественность, которая в одно и тоже время готовила великую русскую революцию, и боролась с нею,— участвовала в ней и убегала от нее,—руководила ею, пока не была отметена, и все еще тщится руководить. Или по другому: — «Вехи» со всеми «противовехами» это теоретическая подготовка неудач и заблуждений великой русской революции, это их литературное предвосхищение. И обратно: все то интеллигентское, что обнаружило свою ненужность и гнилостность во время революции и что со скорбью и ожесточением отброшено ею, — все это есть трагическая жизненная инсценировка наших недодуманных «литературных мнений» и наших недоспоренных кружковых споров.

Кто же назовет праздной или несвоевременной двойную попытку:—*в свете наших новейших революционных переживаний переоценить нашу предреволюционную мысль;.— в свете наших старых мыслей о революции познать, наконец, истинный смысл творящей себя ныне революции?* Только тогда мы окажемся в состоянии правильно уяснить себе наши действительные обязанности по отношению к этой последней. Только тогда мы найдем новые вехи, которые нам нужны сейчас, как еще никогда и никому прежде. А раз все это так, то кто будет вправе назвать праздным или

несвоевременным продолжение угасшего спора, начатого когда-то «Вехами»?

Его, этот спор, необходимо возобновить и продолжить не откладывая, сию же минуту, пока еще не поздно. Революция может оборваться, выродиться, зазнаться. Как знать, не поставлен-ли уже судьбой на очередь и не предрешен-ли вопрос о том, нужна-ли окажется интеллигенция восторжествовавшей русской революции? Что если он уже разрешен даже и разрешен отрицательно? Он разрешен отрицательно, а мы все еще суетимся, хлопочем, готовимся кого-то «спасать», что-то «сохранять» и «насаждать». А если революция оборвется или выродится? Не надо забывать, что «Вехи» — отправной пункт наших размышлений здесь — также были написаны после революции, которая сначала оборвалась, а потом выродилась.

В этом — еще одно значение «Вех». Оне — предостережение.

Русская интеллигенция с трудом переболела революционное потрясение 1905 года, сравнительно слабое и кратковременное. Напрасно она думает, что новый душевный кризис, который ей суждено переживать теперь, есть предел ее мятений и страданий. Самые сильные испытания только еще впереди. Ей предстоит или титаническая борьба за подтверждение своих прав на существование, или же припадок такого отчаяния, такой безысходной тоски, пред которыми отчаяние «Вех» — лишь мимолетная гримаса капризного ребенка. А после — выход один: смерть.

II.

Одну из отличительных черт русской интеллигенции Н. А. Бердяев в «Вехах» усматривает в том, что «философскую истину» она заставляет служить «интеллигентской правде», — потребностям политической борьбы. — У нас выработалась «маниакальная склонность оценивать философские учения и философские истины по критериям политическим и утилитарным». Мы лишились способности «рассматривать явления философского и культурного творчества с точки зрения абсолютной их ценности». Европейские философские учения воспринимались нами охотно, но в искаженном виде и тотчас же приспособлялись к специфически интеллигентским интересам. Бердяев приводит примеры: — «искажен и к домашним условиям приспособлен был у нас и научный позитивизм, и экономический материализм, и эмпириокритицизм, и неокантианство, и ницшеанство». Вместо подлинной философии мы питаемся кружковой отсебя-

тиной и в этом сказывается наша малокультурность, примитивная недифференцированность, ошибка морального суждения. Отсюда—призыв автора: «быстросменному увлечению модными европейскими учениями должна быть противопоставлена традиция,*традиция же должна быть и универсальной и национальной*, тогда лишь она плодотворна для культуры». И он повторяет:—«Нам нужна не кружковая отсебятина, а серьезная философская культура, универсальная и вместе с тем национальная». Вина за неудачный душевный уклад русской интеллигенции падает на общие условия русской действительности, на всю русскую историю. В них отразились грехи нашей исторической власти и вечной нашей реакции. Это они внушили русской интеллигенции недоверие к об‘ективным идеям и универсальным нормам:—«мешают бороться с властью». Это они толкали ее исключительно на борьбу против политического и экономического гнета. Но виновата и сама интеллигенция: она сама избрала путь человекопоклонства и тем исказила свою душу. — Что же нужно? Нужно освободиться от внутреннего рабства, нужно возложить на себя ответственность и перестать во всем винить внешние силы. Тогда народится новая душа интеллигенции. —«К новому сознанию мы можем перейти лишь через покаяние и самообличение». — «В данный час истории интеллигенция нуждается не в самовосхвалении, а в самокритике».

Казалось бы, нетрудно усмотреть, в чем боль Бердяева и в чем его призыв. Ему нужно, чтобы не идеал приспособлялся к политике, а политика к идеалу. Ему хочется идеала высокого, светлого, способного удовлетворить самым смелым притязаниям духа. Настолько высокого, что ему уже не удержаться в плоскости очередных национальных достижений. Не только национальным, но и универсальным должен быть он, этот идеал. Бердяев призывает не удовлетворяться достигнутым, не вменять себе самолюбование в добродетель, а искать нового сознания, — лучшего, чем старое. Но в то же время он говорит о религии и о традиции. Но он против «мертвящей казенщины прогрессивного лагеря»; он против «особого рода бюрократизма сознания». По его мнению, «великое томление, неустанное *богоискание* заложено в русской душе». (Это уже не из «Вех», а из статьи в «Московском Еженедельнике», перепечатанной в книге «Духовный кризис интеллигенции» — 1910 г.) Ну, а этого было достаточно, чтобы зачислить Бердяева в разряд реакционеров и отмахнуться от него досадливо, не задумываясь над ним и не веря ему. Между тем, как пригодилось бы нам теперь умение возвыситься до крупных идеалов национальных и универсальных. Как много успели напортить нам бесспорный

наш бюрократизм сознания и мертвящая казенщина в нашем прогрессивном лагере. Все пошло бы совершенно по иному, если бы сознательно приобретенная строгая философская дисциплина ума запретила бы нам свое «великое томление» претворять в помещичью тоску по третьем снопе, а «неустанное богоискательство» научила бы не ограничивать заботами о новой конституции, которая была бы совсем как в Америке.

Следующая статья «Вех» принадлежит С. Н. Булгакову, ныне о. Сергию. — Как и все остальные авторы сборника, Булгаков исходит из опыта первой русской революции и из его критики. Революция 1905 года не привела к желанным результатам. У многих в ее итоге отложилась в душе горечь. И не потому это, что ее силы оказались слабее «темных сил истории», но потому, главным образом, что она сама страдала слабостью «от внутренних противоречий». Революция 1905 года была интеллигентской. Интеллигенция «духовно оформляла инстинктивные стремления масс, зажигала их энтузиазмом, словом, была нервами и мозгом гигантского тела революции». Ход этой революции есть исторический суд над русской интеллигенцией. Если России суждено обновиться, то «прежде всего ей придется обновить свою интеллигенцию».

Однако, что, собственно, в ней следует обновлять? Ведь, не все-же в ней плохо. С невольной симпатией Булгаков отмечает и «известную неотмирность» русской интеллигенции, и ее бессознательно-религиозное отвращение к духовному мещанству, и ее чувство виновности перед народом, откладывающее печать особой углубленности на ее духовном облике, и «неизменную готовность на жертву у лучших ее представителей и даже искание их». — Но, увы, все эти несомненные достоинства интеллигентской души меркнут пред лицом исторически внедрившейся в нее религии «человекобожества» и неразрывно связанного с нею «самообожания». Вдохновляясь этой ложной религией, интеллигенция наша почувствовала себя призванной сыграть роль Провидения в отношении своей родины. Она признала себя духовным ее опекуном. Россия должна быть спасена, и спасителем ее может и должна явиться интеллигенция вообще и даже имярек в частности, и помимо его нет спасителя и нет спасения». От этого сознания интеллигент впадал в состояние героического экстаза с явно истерическим оттенком. Поэтому ему мало роли скромного работника. Для него необходим—в мечтаниях, конечно,—не обеспеченный минимум, а героический максимум. «Максимализм есть неот'емлемая черта интеллигентского героизма, с такой поразительной

ясностью обнаружившаяся в годину русской революции». Даже если интеллигент и не видит возможности сейчас осуществить этот максимум и никогда ее не увидит, в мыслях он занят только им.—Одним из характернейших конкретных проявлений интеллигентского максимализма является у нас культ программы. Программа для русского интеллигента— все. Ради нее он готов на любые страдания, на любое отречение. А культ программы, в свою очередь, влечет за собой узкую партийность и нетерпимость:—«Нетерпимость и распри суть настолько известные черты нашей партийной интеллигенции, что об этом достаточно лишь упомянуть». Вследствие все того же своего максимализма интеллигенция остается малодоступна доводам исторического реализма и научного знания. Отсюда недостаток чувства исторической действительности, геометрическая прямолинейность суждений и оценок и «пресловутая их *принципиальность*».—Героизм стремится к спасению человечества *своими* силами и притом *внешними* средствами. Отсюда исключительная оценка героических деяний, в предельной степени воплощающих программу максимализма. «Сознательно или безсознательно, но интеллигенция живет в атмосфере ожидания социального чуда, всеобщего катаклизма, в эсхатологическом настроении». Что же удивительного в таком случае, что так велика сила революционного романтизма среди наших интеллигентов, так велика ее *революционность?* Вслед за Бакуниным они полагают, что дух разрушающий есть вместе с тем и дух созидающий.—Под'ем героизма доступен в действительности лишь избранным натурам и при том в исключительные моменты истории. Самообожание же в кредит, не всегда делающее героя, легко воспитывает аррогантов. Благодаря этому человек лишается абсолютных норм и незыблемых начал личного и социального поведения, заменяя их своеволием или самодельщиной. «Нигилизм, поэтому, есть страшный бич, ужасающая духовная язва, раз'едающая наше общество». За нигилизмом следует космополитизм русской интеллигенции. Воспитанный на отвлеченных схемах просветительства, интеллигент естественнее всего чувствует себя гражданином мира, что препятствует выработке в нем национального самосознания и стоит в непосредственной связи с *вненародностью* интеллигенции. «Интеллигенция еще не продумала национальной проблемы».

Как же нам исцелиться от всех тяжких недугов нашего характера?—В ответ на этот вопрос мы находим у С. Н. Булгакова ряд косвенных указаний, которые определеннее любых прямых. Среди нас—отмечает он—крайне популярны понятия *личной* нравственности, *личного* самоусовершенство-

вания, выработки *личности*. Между тем, в отсутствии правильного учения о личности заключается наша «главная слабость». В интеллигентской среде нет слова более популярного чем *смирение*. Между тем, наличие смирения свидетельствует обычно о высоком уровне духовного развития. Наконец, в вас совершенно отсутствует *понятие греха* и *чувство греха*. Но не этим-ли отсутствием чувства греха «об'ясняются многие печальные стороны и события нашей революции, а равно и наступившего после нее духовного маразма»? Иначе говоря, русской интеллигенции необходимо пройти «медленный и трудный путь перевоспитания личности, на котором нет скачков, нет катализмов и побеждает лишь упорная самодисциплина».

Далеко не во всем верна и не достаточно углублена характеристика русской интеллигенции в только что приведенной статье С. Н. Булгакова. Громадный пропуск есть в ней. Она не показывает, что *пока России была нужна революция, пока нужно было подготовлять революцию, русская интеллигенция не могла и не должна была быть иной.* Для предреволюционного периода все ее недостатки являлись ее достоинствами. Кто говорит, что нужно добродетельно подготовлять революцию, тот ничего не понимает в революции, а, может быть, не вполне понимает и добродетель. Только Булгакова-ли с Бердяевым упрекать, что они далеки от понимания революции? С них-ли требовать, что они не провидели неизбежности, после первой русской революции, пробной и неудавшейся, второй революции,—великой, и, наверное, мировой? Достаточно с них и того, что они очень многое верно подметили в русской интеллигенции. Но чего нельзя требовать с людей нереволюционных по натуре, то обязательно для революционеров по миросозерцанию и по призванию. Критикуя «веховцев» так резко и возражая им так горячо, они то должны были бы поставить пред собой вопрос:

— Ну, да; мы созданы подготовлять революцию, для этого у нас имеются все нужные качества. *Но созданы-ли мы вести революцию, быть нужными ей воинами, способны-ли мы обеспечить ее торжество?*

А, ведь, это несомненно далеко не одно и то же: *подготовлять* революцию и *делать* революцию.

Этого мало: характер русского интеллигента—в этом сходятся все—сложен, запутан, противоречив. Следовало спросить себя, какие же его черты способны обеспечить торжество революции и тем оправдать ее и какие во вред и России и ей самой. Если бы тогда—под влиянием «Вех» —русская интеллигенция задумалась над этим, кто знает, как пошла бы наша вторая революция? Сколько ужасов

было бы, наверное, предотвращено, сколько жертв сохранено, сколько революционеров осталось бы революционерами, а не превратилось бы и не разберешь во что.

Вопрос, не спрошенный тогда, тем настоятельнее выдвигается теперь, на исходе нашей противуреволюционной борьбы: если уже революция пришла, не просто революция, не отвлеченная ,а—*русская*, в специфических русских условиях, то кто ее господин? Кого из своих служителей могла и должна она была выбрать себе в вожди? Подчеркиваю: *революция,* т. е. совершенно исключительное социальное состояние, с исключительными экономическими и политическими условиями, с совершенно особой психологией. Всех русских интеллигентов, безразлично каких,—должна она была отличить? И только потому, что они интеллигенты? Разумеется, нет.—Так чего же все они так упорно лезли в вожди, зачем каждый из них так методически мешал всем остальным?! Нет, не напрасно Булгаков призывал к смирению и не случайно предупреждал о грехах!

Есть и еще в статье Булгакова вопрос, который опять-таки лишь теперь, в итогах второй нашей революции, приобрел полноту своего смысла.

Первая революция—утверждает наш автор—была интеллигентской. Спрашивается: *могла-ли вообще какая бы то ни была революция в России не быть интеллигентской?* Не отведена-ли изначально русской интеллигенции решающая роль в любой русской революции? И ,следовательно, не творился-ли в грандиозном историческом процессе, начавшемся в марте 1917 года, вторичный страшный исторический суд над нами, интеллигентами, как главнейшей среди всех революционных сил, давивших на нашу родину и взорвавших ее в итоге войны?

Предчувствие этого страшного суда, выраженное почти с кликушеской исступленностью, пугающее своим страшным предостережением, находим мы в статье Гершензона. Указав на оторванность интеллигенции от народа, на их взаимную рознь, Гершензон восклицает:—«Мы для народа не грабители, как свой брат, деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно, с безсознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои. *Каковы мы есть,* нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, —бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». В русской

публицистической литературе мало отрывков более пророческих и провидческих, чем только что приведенный. Его одного достаточно, чтобы оправдать добрую половину ужасов великой революции: — случилось то, что не могло не случиться, раз только революция разразилась. Его одного достаточно, чтобы снять с нас всякое обвинение в непонимании истинных наших отношений, как интеллигенции, к русским народным массам. Но зато тем более тяжкими становятся два других обвинения: — в непонимании нами самих себя и в непонимании нами революции. Слов нет, неприятно было бы отдать себе ясный отчет в том, что такими «каковы мы есть» мы могли до революции бороться ради народа с властью только под охраной власти. Но что ж поделаешь против правды? Народ принимал нас такими, каковы мы были, только потому, что его заставляли принимать нас такими. А если б его собственная свободная воля? *Захотел ли бы он иметь при себе именно такую интеллигенцию?* Допустил-ли бы он, чтобы *такая* интеллигенция пришла владеть и управлять им на смену властей и власти? — Никто больше не мечтал в России о революции, чем русская интеллигенция. Все, что относилось к будущей революции, с любовью обдумывалось ею и запоминалось. Так как же было упустить из виду вопрос о том, *кто будет делать русскую революцию, как она будет делаться и каковы наши новые обязанности по отношению к народу во время нее?* — самый важный из всех революционных вопросов. Ну, я допускаю: он просто никому не пришел в голову; забыли о нем и забыли. Но «Вехи» на лицо. В них Булгаков вплотную подвел нас к нему, а Гершензон истерически выкрикнул его громким голосом и на высоких нотах. Следовательно, если тем не менее русская интеллигенция обошла этот вопрос, то лишь в силу какого-то крупного дефекта ее интеллектуального слуха. Так оно было в действительности: из приведенного отрывка из «Вех» критика выхватила лишь несколько слов: «нам нельзя мечтать о слиянии с народом... бояться его мы должны... благословлять власть, которая штыками и тюрьмами ограждает нас»... Услышали лишь то, что могли понять, а поняли так немного и так превратно. Даже слов *каковы мы есть*, набранных в разрядку, не поняли и не услышали, а в них-то и заключается вся суть. (Я готов впрочем утверждать, что и Булгаков с Гершензоном сами совершенно не поняли и не услышали страшного своего вопроса). Между тем, не понять тогда странички «Вех» со словами «каковы мы есть...» значило абсолютно не понять позже ни своих обязанностей в качестве деятелей революции, ни обязанностей ее истинных вож-

дей, ни вообще всей русской революции как своебразного исторического и социологического процесса.

И нужно-ли напоминать, каких страшных жертв нам стоило это наше непонимание, какую тяжкую расплату мы понесли за него?

Моей задачей не является полное изложение «Вех». Поэтому, как ни интересна статья в них покойного Б. А. Кистяковского, показывающая, что русская интеллигенция никогда не уважала права и призывающая ее уважать право, — я опускаю эту статью. Я оставляю также без рассмотрения и статью С. Франка, для которого «морализм русской интеллигенции есть лишь выражение и отражение ее нигилизма». Наблюдения Изгоева над нашей «интеллигентной молодежью» также могут быть мною опущены. Напротив, я не могу обойти молчанием статьи П. Б. Струве «Интеллигенция и Революция». Хотя бы уже потому, что это статья Струве.

Интеллигенция — говорится здесь — есть совершенно особенный фактор русского политического развития. Ее историческое значение определяется ее отношением к государству в его идее и в его реальном воплощении. — «Идейной формой русской интеллигенции является ее *отщепенство*, ее отчуждение от государства и враждебность ему». Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его *мистику*. В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции — ключ к пониманию первой революции. В момент государственного преобразования 1905 г. отщепенские идеи и отщепенское настроение всецело владели широкими кругами русских образованных людей. «Никогда никто еще с таким бездонным легкомыслием не призывал к величайшим политическим и социальным переменам, как наши революционные партии и их организации в дни свободы». Легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения — таковы, по Струве, внутренние силы, побуждавшие на действия русскую интеллигенцию. Этих дефектов интеллигентского характера не искупает даже готовность наших интеллигентов на жертвы ради народа. «Когда интеллигент размышлял о своем долге перед народом, он никогда не додумывался до того, что выражающаяся в начале долга идея личной ответственности должна быть адресована не только к нему, интеллигенту, но и к народу, т. е. ко всякому лицу, независимо от его происхождения и социального положения. Аскетизм и подвижничество интеллигенции, полагавшей свои силы на служение народу, несмотря на всю свою привлекательность, были, таким образом, лишены

принципиального морального значения и воспитательной силы».

Струве глубок и силен даже в своих ошибках. Быть может, его главное призвание как раз в том и заключается, чтобы быть полезным своими ошибками. Дело его друзей, критиков и врагов исправлять его выводы и извлекать все ценное из фейерверка бросаемых им мыслей. Так и тут. *Идея ответственности народа* пришла в голову только ему. Он ее бросил нашему обществу мимоходом, но так, что оно обязано было подхватить ее. Оно не подхватило. Менее всего обратили на нее внимание наши революционеры, а между тем к ним-то более всего она и обращалась. Смысл ее двоякий. Она утверждала, во-первых, что на «народе» тем меньше ответственности, чем больше за него действуют другие. Она утверждала, во-вторых, что особенно сильною ответственность народа должна стать с того момента, когда он весь начнет действовать как революционер, т. е. жертвовать собою, страдать, добиваться новых возможностей и новых целей. Для целого народа такой момент может придти только во время революции. Ясно, что революции нет там, где и по свержении старого порядка народ все еще остается на поводу, когда кто-то все еще должен «страдать ради него», когда его собственная воля или по прежнему спит, или престидижитаторски подменяется кем-либо. Между тем, наши революционеры в массе своей упорно мечтали о революции во имя народа, но без народа и, быть может, в неосознанных тайниках своей души и впрямь «боялись его пуще всех казней власти», как рекомендовал Гершензон. Тем самым они, действительно, столько же помогали народу, сколько и развращали его. Они хотели, чтобы во время революции народ ничего не проявил кроме высшего эгоизма, чтобы он всего добивался только для себя, чтобы он обожествил себя, а в первую очередь обожествил свои материальные потребности. А в то время, как он проявлял бы свою душевную черствость и укреплялся бы в ней все более и более, — они, революционеры, попрежнему служили бы ему в качестве святых альтруистов, подвижников, недосягаемых для остальных аристократов духа. Разве не очевидно, что, при подобном понимании революции русскими интеллигентами-революционерами, не только углублялась борозда, отделяющая их от «народа», не только их духовный аристократизм возводился ими в догмат, но вся их жертвенность — Струве прав — действительно лишалась значительной доли своего «морального значения» и своей «воспитательной силы». Повторяю: непонимание нами революции и нашей роли в ней очень дорого обошлось нам. Совершен-

но несомненно, что немалая часть наших жертв обусловлена как раз тем, на что мною только что указано с помощью Струве из «Вех»: — *русская революция не захотела деления своих служителей на духовных аристократов и духовных плебеев.* Или все плебеи, или все аристократы. Все одинаково служители для нее. Русский народ во время революции не захотел продолжения своей духовной опеки. Он захотел действовать сам. Как умеет. Как подсказывает ему его накопившаяся ненависть и его жажда лучшего. Долой тех, кто в этот великий момент чуть-чуть не сделал из него лишь паскудных людишек, ценою убийств и грабежей покупающих себе кое-какие выгоды. Благо тем, кто не отшатнулся от него в преступлениях его, вместе с ним взял на себя моральную ответственность за все сотворенное зло и вместе с ним,—*без остатка растворившись в нем,*—стал искать общий русский и мировой идеал. Если уж революция наступила, она не могла быть иной. Не мог быть в ней иным, — т. е. оставаться нежертвенным, не стремящимся к идеалу, действующим через кого-то других—и творец ее и служитель, проснувшийся, освобожденный русский народ. Да, об этом предупреждал нас Струве. Его вина, что он не повторил своего предупреждения; — наша вина, что мы вовсе не услышали его.

Другая крупная мысль Струве в «Вехах» — это мысль о *мистике государства.*. «Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция отрицает его мистику».

Сам Струве живо чувствует дыхание этой мистики. Иногда наряду с нею он ставит мистику национального духа. Иногда та и другая сливаются вместе в его представлении. В 1902 году он писал: «Мы решительно отвергаем, как нелепое и—да будет позволено так выразиться—наглое притязание присвоить каким-нибудь содержаниям величество национального духа. Но мы знаем, как можно «в духе и истине» служить этому величеству. Для этого нужно не указывать властной рукой творческому процессу жизни его путей, а пролагать и расчищать их для свободного искания, памятуя, что только свобода творчества обеспечивает национальной культуре полноту и богатство содержания, красоту и изящество формы». И в другом месте: *Абсолютных материальных начал национального бытия нет и быть не может* .

Вспомнив ныне приведенные слова, не станем уже больше забывать их при всякой последующей критике интеллигенции и революции. Они настойчиво ставят вопрос: не было ли всереволюционное творчество русской интеллигенции проявлением сплошного удручающего непонимания «мистики

государства» и «мистики национального духа»? Наши теперешние страдания не есть-ли законная расплата еще и за это непонимание? Безтолковые повторения не ко времени и не к месту «вся власть Учредительному Собранию» не есть ли первое и самое важное проявление этого непонимания? А новейшая формула самого Струве о «делании левой политики правыми руками» не есть- ли последнее такое проявление, доводящее его до своеобразного мистического извращения? Но за то, напротив: в то время как все мы ныне отвергнутые Россией, только и делали, что мешали «творческому процессу жизни» подсовыванием ему «абсолютных·материальных начал», не пригодных во время революции; в то время как мы всем своим поведением настойчиво отрицали малейшее проявление «мистики государства», *эта мистика* — подлинная и глубокая—*не раскрывалась-ли она и не раскрывается-ли и теперь во всем, что создало из России страну Советов, из Москвы—столицу Интернационала, из русского мужика —вершителя судеб мировой культуры?*

III.

Когда «Вехи» появились, представители различных интеллигентских направлений напали на них по разному.

В петербургском Религиозно-Философском Обществе выступили против них с докладом Д. В. Философов и Д. С. Мережковский. По мнению первого, «Вехи» неправы, потому что России открыты только два пути: «или реакция и черносотенство Дубровина с его «союзом», или интеллигенция».— Второй сравнил семь авторов сборника, подписавших «отлучение русской интеллигенции», с семью иерархами, подписавшими отлучение Л. Толстого. Затем он пояснил: «Пусть правда все, что говорят «Вехи» о русской интеллигенции; идущему по узенькой дощечке над пропастью сказать: «убьешься»—тоже правда, но правда не любви. Кто может помочь, помоги; но не любовь—не помощь. Кто может быть мостом, будь; но радуга—не мост». И т. д. все в том же духе.

В исторической комиссии учебного отдела О. Р. Т. З. (Общества Распространения Технических Знаний) в Москве также было заседание, посвященное сборнику «Вехи». В прениях принимали участие С. П. Мельгунов, В. П. Потемкин, гр. П. М. Толстой, К. Н. Левин, А. А. Титов, В. И. Пичета, П. Г. Дауге, В. М. Турбин и др. По окончании прений собранием была вынесена следующая резолюция: — «Признавая сборник «Вехи» продуктом романтически-реакционного настроения известной части русской интеллигенции, вызванного временным упадком общественных интересов, историческая

комиссия констатирует наличность в упомянутой книге грубых внутренних противоречий, шаткость основных точек зрения авторов и крайне несправедливое отношение к прошлым и настоящим заслугам лучших элементов русской общественности, самоотверженно и неустанно стремящихся к высоким социально-политическим идеалам».

На первой странице сборника социалистов-революционеров, посвященного «Вехам», значится: «Выпавший на долю «Вех» успех на книжном рынке есть в значительной мере успех скандала». — «Эта книга есть несомненное знамение времени или точнее знамение безвремения». — «Она, кроме того, по существу своему есть самая реакционная книга какая только появлялась за последнее десятилетие. В этом отношении «Вехи» побили рекорд «Московского Сборника» Победоносцева, также, кстати сказать, выдержавшего несколько изданий. Наивная и прямолинейная реакция «старого стиля» бледнеет перед утонченной и махровой реакцией стиля-модерн». Несколько дальше: — «Филистерски-реакционный дух, обуявший вместе с психологией отступничества г-на Струве и его «небольшую, но честную компанию», успел уже наложить на их литературные выступления несмываемую печать нравственной фальши и лицемерия». Еще дальше: — «Думается, что нам удалось достаточно ясно показать связь похода авторов «Вех» с общей трагедией — вернее трагикомедией — нашего либерализма. Его болезнь полная импотенция, старческое перерождение тканей, своеобразный политический артериосклероз. Необходимо впрыскивание броун-секаровской жидкости, — новой, собственной идеологии»...

Конечно, совсем по другому ответил «Вехам» цвет русского либерализма. Его сборник «Интеллигенция в России» предлагает вниманию читателей «некоторые из тех же тем, которые затронуты и в сборнике «Вехи», но в несколько ином освещении». По мнению Н. А. Гредескула, «Вехи» неправы, считая русское освободительное движение 1905 г. интеллигентским. Напротив, оно «в такой мере было «народным и даже всенародным, что большего в этом отношении и желать не приходится». Что касается его реальных результатов, то «никакая революция, оплодотворенная могучим участием в ней самого народа, никогда не остается безплодной. Она всегда дает обективные и благодетельные для народной жизни результаты —сперва в виде зачатков новой жизни,—зачатков хилых безпомощных и безобразных, но выростающих потом в нечто новое, прекрасное и сильное». Великое значение русского

освободительного движения в том, что «русский народ пережил в нем коренной *перелом* своего политического миросозерцания. До него он был за *абсолютизм*, после него — он стал против абсолютизма».

Наиболее обстоятельно и наиболее типично для представителя либерализма полемизировал с «Вехами» П. Н. Милюков: —

Интеллигенция вовсе не есть явление специфически русское. Он может доказать это опытом Запада. Огульное обвинение «всего русского социализма, всей молодежи, всего революционного движения» в безгосударственности и анархизме неверно и несправедливо. Зато «безгосударственно и анархично в полной мере как раз то учение славянофилов, которому авторы «Вех» подают руку». Напрасно авторы «Вех» призывают к культивированию идей национального мессионизма: «у огромного большинства нашей интеллигенции оказывалось достаточно здравого смысла и самокритики, чтобы не тешить себя и не смешить других национально-мессианскими построениями». Авторы «Вех» озабочены созданием русской культурной традиции. Опоздали. Эта традиция была уже при Чаадаеве. Теперь она гораздо длительнее и богаче. У нее есть свой культ, своя символика. Всякое неосторожное прикосновение к ним вызывает общественную реакцию. «И эти чувства негодования против оскорбителей святыни есть лучшая гарантия и доказательство существования нашей общественной солидарности». Поэтому не проклинать и отрицать ее надобно, эту традицию, а культивировать, как необходимую основу общественного воспитания и дальнейшего сознательного общественного поведения. «Вехи» призывают очиститься и покаяться. Совсем не то нужно. «Нужно научиться правильно наблюдать и делать выводы самому; нужно тому же самому научить и всякого рядового гражданина. Вот к чему сводятся советы научно-образованного стоящего на высоте цивилизации своего века европейца-интеллигента». В заключение своей статьи П. Н. Милюков призывает всех сочувствующих «Вехам» опомниться.—«Вспомните о долге и дисциплине—наказывает он им—вспомните, что вы только звено в цепи поколений, несущих... культурную миссию... Не вами начинается это дело, и не вами оно кончится. Вернитесь же в ряды и станьте на ваше место. Нужно продолжать общую работу русской интеллигенции с той самой точки, на которой остановило ее политическое землетрясение, ничего не уступая врагам, ни от чего не отказываясь и твердо имея в виду цель, давно поставленную не нашим произволом и прихотью, а законами жизни».

Почему «Вехи» вызвали такой дружный интеллигентский протест? —Одним их призывом к уходу от политики и к самоуглублению этого не об'яснишь. Не об'яснишь этого и «крайней их реакционностью», которая была учуяна за этими призывами. Повидимому, главную причину надо искать здесь в том, что «Вехи» осмелились развенчать *идеальный тип русского интеллигента-революционера*, преклонение пред которым дотоле почиталось общеобязательным. Как мы видели выше, «Вехи» обвиняют русскую интеллигенцию в том, что она лишена достаточно широкого и возвышенного идеала, что она проникнута духом вредного самообожания и самонадеянности, что ей чуждо чувство права и уважения к дисциплине, что она не ищет самоусовершенствования и не понимает значения личности, что она оторвана от народа, антигосударственна, анархична и нигилистична, что основной чертой ее характера является необузданный максимализм. Теперь многие охотно сказали бы, наверное: *«Вехи» изобразили всех русских интеллигентов как большевиков и русская интеллигенция обиделась на них за это*. Примем такую формулировку и мы сами и посмотрим, правы-ли были «Вехи», считая русскую интеллигенцию в сущности своей большевистскою? А если правы, то следовало-ли ей обижаться на них?

Если иметь в виду не конкретную социально-политическую программу, а общее умонастроение русской интеллигенции и вкус ее к особого рода тактике, выявленные «Вехами»—*то да, совершенно, несомненно русская интеллигенция была по преимуществу большевистскою.*

Большевиком не назовешь, конечно, Милюкова. Но зато разве он был характерен для русской интеллигенции в ее массе, разве он не занимал среди нее совершенно индивидуального места? Когда он методически внушал «научиться правильно наблюдать и делать выводы самому», потому что таков совет «научно-образованного стоящего на высоте цивилизации своего века европейца-интеллигента» многие-ли из русских интеллигентов чувствовали в нем выразителя любимейших своих дум? Да и то, кто еще знает?—если Милюков не был «большевиком» раньше, не становится-ли он им незаметно для себя теперь. Настоящие строки писались в момент, когда он вел ожесточенную борьбу со своими друзьями по партии за так называемую «новую тактику» .Имевшие возможность вблизи наблюдать эту борьбу, должны были только диву даваться: что с ним стало? Откуда эта решительность? Откуда столько готовности рубить с плеча, произво-

сить слова, воспринимаемые окружающими как «удары бича по сердцу» (Ф. И. Родичев)? Со страстной убежденностью он заявляет, что его новая тактика принята единогласно, а затем на него сыплются воистину единогласные заявления, что это неверно. Когда он остается в меньшинстве, он отказывается подчиниться большинству, называет большинство «врагами» и готовится окапываться против них в Совещании Членов Учредительного Собрания. И почему все это? Потому что «по условиям момента» кадетизму нужна как можно более левая программа. Остается ждать, насколько «моменты» заставят его полевать еще и еще. И до каких пор? Напомню на всякий случай, что в момент Кронштадского восстания П. Н. Милюков договорился уже до *признания советов;* тех самых, что действуют теперь, лишь бы они не возглавлялись большевиками. Да, да; остается только ждать, остается только ждать. И не даром вся эта новая тактика кое-кем из знающих Милюкова воспринимается лишь как очередной его эволюционный этап. Изменится обстановка и он так же обоснованно, как все, что он делает, с превосходными ссылками на «опыт Запада» сделает еще несколько шагов вперед. И да будет мне позволено обратить внимание на обычный характер аргументации кадетского лидера. Чаще всего вы слышите от него именно этот аргумент: «прежде было так и потому мы думали этак; теперь обстоятельства изменились и мы должны думать иначе». Политик обязан считаться с обстоятельствами, это совершенно очевидно. Но нельзя-же, чтобы в порядке приспособления к текущим обстоятельствам —как нечто вполне нормальное—производились неимоверно быстрые и резкие переходы от одной тактики к другой, от программы к программе и к другой, и к третьей, и к четвертой. Тем менее допустимо, конечно, чтобы в порядке все того же приспособления к обстоятельствам и под видом изменений в тактике производились радикальные изменения политического миросозерцания. Между тем, именно такие радикальные изменения были незамедлительно произведены Милюковым в его душе, едва только по условиям момента ему захотелось сесть в Париже на rue de la Pompe рядом с Авксентьевым и Керенским. Сесть рядом с ними можно было лишь при условии признания будущей России республиканскою, федеративною и в договорном порядке устанавливающею свои взаимоотношения с бывшими своими окраинами. *И вот всецело потому только, что этого требует момент,* П. Н. Милюков становится республиканцем, федералистом, сторонником принципа самоопределения народностей. А когда ему предлагают высказаться по поводу заветов рево-

люции, что облекает он в одежды таких заветов? Основные пункты временного своего соглашения с эс-эрами на rue de la Pompe. Разумеется, это не большевизм в общепринятом теперь чувствовании этого слова. Но это, несомненно, большевизм в его наиболее расширенном понимании, представленном «Вехами». А еще точнее: это отражение типичного русского интеллигентского нигилизма в смысле отсутствия абсолютных критериев, в смысле отсутствия для человека «заказанных путей».

И что всего замечательнее, именно в этом-то П. Н. Милюков и является наиболее верным самому себе, именно в этом-то он и остался «неизменным, что бы ни случилось». Многие жестоко обвиняют Милюкова за отсутствие устойчивости, кое-кто (особенно в среде новых его друзей) называет его даже оппортунистом. Мы не из тех, что в какой бы то ни было мере разделяли бы подобные обвинения. Мы убеждены, что, среди всех колебаний, отказов и перемен, переходов от тактики к тактике и от программы к программе, в П. Н. Милюкове неизменными и твердыми остаются конечные его идеалы и глубочайшие внутренние импульсы: благо России, культ демократизма, служение прогрессу.

Пусть верность конечным идеалам и основным импульсам вместе с другими его неоспоримыми качествами—тонким умом, широкой образованностью, громадным политическим опытом, уменьем быть лидером составляют главнейшие достоинства П. Н. Милюкова. Пусть его эластичность, способность к эволюции и к приспособлению суть его недостатки. Нелегко усмотреть, какую пользу принесли Милюкову во время революции перечисленные его достоинства. Зато если ему суждено сыграть в ближайшем будущем достойную его положительную роль, то виной тому будут прежде всего его «недостатки». Но не показывает-ли это лишний раз, что именно «большевистское» в русском интеллигентском характере больше всего полезно во время революции и России и самой революции. Впрочем, об этом позже.

Не принято называть большевиками и людей типа Авксентьева и Керенского. Однако, в том условном смысле, в каком мы оперируем с этим термином, в данную минуту многие, наверное, не откажутся признать их хотя бы «очень близкими к большевикам». Стало уже трафаретом утверждать, что, в период своего управления Россией, Керенский сделал все, чтобы передать свои полномочия из своих рук в руки своих врагов. Не добровольно, конечно, а в силу того, что за большевизмом Керенского логически должен был ут-

вердиться большевизм Ленина. Мне нет надобности указывать на конкретные проявления идейного и практического экстремизма водителей партии социалистов-революционеров. Но одну их черту я не могу не отметить в интересах моей темы. Повсюду в России, в Петрограде и в Москве, вСамаре, Казани, и Уфе, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, а позже и заграницей:—в Праге, в Париже—повсюду и в течение всей революции они неизменно выступали с одними и теми же лозунгами, с одними и теми же политическими приемами. Это для меня—большевизм упрямого политического однодумства, почти маниакального долбления в одну точку, что бы ни случилось и к чему бы это ни привело. Честь им и хвала за постоянство и настойчивость. Но давно пора бы им заметить, что *именно их лозунги и их тактика менее всего пригодны для революции.* С их помощью нельзя ни автоматически управлять массами, ни увлекать их, ни подчинять. При их господстве не может быть ни революции, ни контрреволюции, ни тем более искомого ими *среднего.* Сплошное ни то ни се. Какие-то Буридановы ослы в роли вершителей исторических судеб. За миг блаженства быть у власти всем им неуклонно приходилось потом расплачиваться длинными периодами скрежета зубовного на тех, кто так низко растоптал их святые желания и так глупо не дал им сделать их великого дела. По их глубочайшему убеждению, за ними была и есть вся Россия. Только они подлинные выразители воли народной. Но стоило им появиться где-нибудь, как тотчас же их сметала либо «кучка гнусных насильников» в лице большевиков, либо «кучка гнусных реакционеров» в лице казаков, офицеров, генералов, помещиков и купцов. И все-таки они ни на минуту не сомневаются, что правильно действуют только они. Чем же, в самом деле, об'яснить эту поразительную настойчивость, эту завидную в клиническом отношении самодостаточность, как не особым душевным интеллигентским складом, зафиксированным «Вехами»? Тут есть в редком изобилии:—и утрированная «принципиальность», от которой не тошно только самим ее обладателям, —и самовлюбленность, не допускающая даже намека на самокритику, и самоусовершенствование,—и максимализм по формуле: «или мы или никто»,—и отсутствие малейшей политической дисциплины, отразившееся в ряде роковых тактических ошибок. Спешу и здесь оговориться, что, приводя указаные черты специфической эс-эровской психологии (как психологии интеллигентской), я отнюдь не делаю этого в целях суда или осуждения их обладателей: создал их Бог русской истории такими и ничего уж, видно, не поделаешь. Но всякому должно быть ясно, что *пока подобный тип русского*

интеллигента не изжит или не побежден окончательно, не могут быть изжиты ни русская революция, ни русская контр-революция. Непрактичные, недисциплинированные, хаотичные по натуре и по историческому воспитанию—такие «каковы они есть», они призваны лишь поддерживать русский хаос и русское государственное разложение. Никакая черная сотня не страшна так для русского прогресса, как они, потому что сила черных сотен есть лишь отражение и отзвук их силы. Половины ужасов большевизма не было бы, если бы не их фанатические «выступления», сеющие ужасы. По идее наиболее близкие из всех русских интеллигентов к русским народным массам—это они с особенным упоением играли роль всезнающих и непререкаемых наставников масс, что оттолкнуло от интеллигенции массы. Короче: если есть сейчас различные типы русского большевизма, из которых одни более опасны, а другие менее опасны, то—безусловно —пресный эс-эровский большевизм есть самый опасный из всех. С ним—а быть может, и только с ним одним—должна вести сейчас борьбу вся Россия, поскольку она хочет и должна остаться Россией.

Менее всего большевик в психологическом смысле слова такой законченный и уравновешенный европеец, как покойный Г. В. Плеханов. Как известно, не являлся он большевиком и в программном отношении. А между тем вот что он высказал на Брюссельском С'езде Российской Социал-Демократической рабочей партии в 1903 г.:-«Каждый данный демократический принцип должен быть рассматриваем не сам по себе в своей отвлеченности, а в его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии: salus populi suprema lex. В переводе на язык революционера это значит, что успех революции—высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы остановиться. Как личное свое мнение я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения указанного мною основного принципа демократии. Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права... Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов подобно тому, как высшие классы ограничивали когда-то его политические права. О пригодности такой меры можно было бы судить лишь с точки зрения правила salus revolutiae suprema lex. И на эту же точку зрения мы должны были бы стать и в вопросе о продолжительности

парламентов. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент, то нам следовало бы стремиться сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, через две недели».

Великая русская революция не забыла этих слов одного из виднейших своих предтеч. Ленин не напрасно считает Плеханова в числе своих учителей. Быть истинным революционером и вместе не быть экстремистом в русских условиях нельзя, и потому *даже Плеханов* был одной стороной своего существа последовательным экстремистом, т. е.—по нашей условной терминологии—большевиком.

А вот что еще гораздо примечательнее. Те самые семь авторов сборника «Вех», которые с таким сожалением или таким негодованием констатировали большевистскую натуру русской интеллигенции в конечном итоге сами менее всего чужды большевистского духа. Они призывают к смирению, но это—то самое смирение, что паче всякой гордости. Они требуют возврата русской интеллигенции к религиозному мироощущению, отказываясь признать за религиозную ту интуицию, которая у нее есть. Однако, все, что им удалось доказать—это то, что атеистическая религиозность русской интеллигенции резко отличается от христианской, от церковной религиозности, но вовсе не то, что в ней вовсе нет никаких подлинных элементов религиозности. Пожалуй, здесь даже вполне допустим и уместен следующего рода софизм: при том минимуме религиозности, которая отпущена на долю русского интеллигента, он все-таки типичный политический сектант, экстремист, большевик. Чем больше у него было бы религиозности, тем больше он становился бы в политике сектантом и большевиком в нашем значении слова. Авторы «Вех» очень религиозны и хотят, чтобы все были, как они. Следовательно, психологических элементов большевизма в них не меньше, а больше, чем в других русских интеллигентах. Так оно и есть в действительности. Не даром в нашем политическом словаре на ряду с термином «красного большевизма» утвердился термин «белого большевизма». Белый большевизм пришел в русскую жизнь из «Вех», как красный из «Искры» и из «Вперед». В чем разница между тем и другим большевизмами? Только *в их направлении и в окраске*, а отнюдь не *в напряжении, не в тонусе* их максимализма, той их прямолинейности и самоуверенности, той готовности на жертвы и привычки требовать жертв,—наконец, того безраз-

личия ко всему относительному и промежуточному, что составляет самую их душу. Не побоюсь сказать: исключительно этим изнанковым большевизмом можно об'яснить себе тот факт, что Струве, утонченный культурно и этически,— Струве, упоенный Богом, величием государственной идеи и гордым национальным пафосом, мог вдруг оказаться идеологом крымской эпопеи конца 1920 года. Он не мог не видеть всех безобразий, которые творились там вокруг него ,он не мог не ощущать, что все, что там делалось—(смерть самоотверженных не в счет), было сплошным издевательством и над религией, и над государственностью, и над здоровым национальным чувством. Однако, Струве *прощал* все это, *перешагивал* через все это, принимал все это за случайное, за временное, *за детали*. Это-ли не большевизм?! И если-бы злополучный врангелевский период не оборвался так скоро, кто может сказать, до каких столпов белого экстремизма пришлось бы дойти Струве с его потенциями типичного русского интеллигента, и потому... большевика. «Вехи» и тут правы: большевизм неразрывно связан в психологическом ряду с нигилизмом. Не в том смысле, что для человека не существует ничего абсолютного, а в том, что для него ничто не существует, ничто не ценно, если не входить в круг *его абсолютного*. Отсюда-то отмеченная Бердяевым погоня русских интеллигентов за модными философскими теориями, приспособление их на потребу очередного политического дня и затем отбрасывание во имя новых модных теорий. Отсюда их любовь искать все новые и новые политические позиции, заменять одну тактику другой, отказываться от одной программы во имя другой. Несущественно, делается-ли это путем постепенных или мнимо постепенных переходов, или же сразу с разрывом и надрывом. У Милюкова, как мы видели, это делалось в порядке чудесных видоизменений все одного и того же. У авторов «Вех», почти поголовно и вдруг перешедших от марксизма к идеализму и от атеизма к христианству,— это произошло именно с разрывом и надрывом. Но суть остается одною и тою же: как ни различны между собою Милюков и Струве решительно во всем, в одной стороне их существа они являются идентичными,— в той, благодаря которой они обнаруживают элементы типичного интеллигентского нигилизма при отрицании всего того, что не их Бог или не их идол. А с какой прямолинейной жестокостью, с каким опьянением вызова, с какой готовностью биться, разить, сокрушать бросили авторы «Вех» свой приговор над русской интеллигенцией! Какого решительного перелома потребовали они от нее! Какие недостижимые пути об'явили они единственно

практическими, единственно открытыми, на которые всем нужно ступить вот сейчас, сию минуту! Какому широкому «универсальному и национальному» идеалу решили они посвятить свое служение. Нет, что хотите, — может быть, мне лично не удалось показать это с достаточной наглядностью и убедительностью, — но это большевизм, это типичный русский интеллигентский большевизм, проявляющийся в самых разнообразных формах и окрасках.

От Струве, говорилось иногда, один шаг до Пуришкевича. Замечательно, что если бы мы сделали этот шаг, то и тогда мы натолкнулись бы все на ту же интеллигентскую психологию, которую не назовешь иначе как большевистской

В «Современных Записках» Н. Д. Авксентьев делится одним своим воспоминанием о Пуришкевиче за время совместного их сидения в Петропавловской крепости, в декабре 1917 года. Ожидалось заключение «позорного» и «похабного» Брестского мира .

— «Но в это время — рассказывает Авксентьев — Троцкий сделал свой «beau geste», прервал переговоры в Бресте и явился в Петроград проповедывать войну против Германии. Большевистская пресса была полна воинственного пыла. Заявлялось о непреклонном решении отстаивать «красный» Петроград и «красную» Россию. Нам в тюрьму газеты доставлялись. И вот, в одно утро, — с газетами и какими-то бумажками в руках — ко мне влетел возбужденный, взбудораженный Пуришкевич. Он прочел об этом «решении» большевиков и пришел предложить составить и подписать заявление. «Заявим — говорил он — что если так, мы готовы итти делать, что угодно. Пошлют на передовые позиции бороться с завоевателем — пойдем. Заставят быть братьями милосердия, сделают пушечным мясом — на все готовы. Пусть руководят, но пусть не слагают оружия защиты».

Не правда - ли, как это по-русски, по интеллигентски и... « побольшевистски»? Какой контраст с самим Н. Д. Авксентьевым, который в ответ на пламенный порыв воистину безудержного патриота только и мог заявить, что «не верит всей этой большевистской шумихе» и что «наше положение было деликатное и всякое такое движение с нашей стороны могло быть истолковано, как желание прежде всего выбраться из тюрьмы». По счастью, он прибавляет все же, что в тот момент «руководитель черной сотни психологически был ближе» ему, чем самые радикальные политики, которые в борьбе с большевизмом уничтожают самый смысл этой борьбы, которые интересам борьбы с большевизмом жертвуют интересами России».

IV.

Согласимся на этом: «Вехи» совершенно правы, характеризуя русскую интеллигенцию как по натуре максималистскую, нигилистическую, революционную или — по современному — как большевистскую. Во время революции обнаружилась, следовательно, не борьба психологических антитез и антиподов — большевизма и антибольшевизма, а борьба разных типов и разных окрасок в лоне одного и того же интеллигентского большевизма. Среди пестрого состава русских интеллигентов-большевиков, революция выбрала для своих сражений и побед тех, которые ей оказались наиболее подходящими. В процессе революции произошло, все еще незаметное для нашего сознания, разделение русских интеллигентов на большевиков, угадавших веления революции и потому «торжествующих» вместе с нею и на неугадавших их и потому страдающих, ноющих, клевещущих, запутавшихся в лжи и противоречиях. Вся, сплошь приемлющая революцию и воспитанная для нее, русская интеллигенция распалась на два громадных лагеря и вступила в братоубийственную борьбу из-за разного понимания требований революции и ее возможностей. Борьба эта прекратится и лагери сольются, когда случится одно из двух: или когда угадавшие веления революции получат с ее помощью столько силы, что принудят подчиниться себе даже наиболее упорных из своих врагов; или же — второй случай — когда побежденные в революции русские интеллигенты поймут неправильность своего пути. Отсюда вот один из самых важных политических тезисов, которые во что бы то ни стало обязана осознать русская интеллигенция в России и в изгнании: *об'единить русскую интеллигенцию, сделать из нее единую и мощную социальную силу способна только восторжествовавшая революция.* Напротив, если бы революция не победила, если бы все вернулось в России к тем условиям, которые создавали русский интеллигентский разброд и многоликий русский интеллигентский большевизм, если б над Россией снова повисла необходимость еще и еще одной революции, — тогда неизбежно интеллигенция осталась бы такою же, как была, то есть столько же полезной России, сколько и вредной ей. Нет, даже больше, пожалуй: раз она была создана специально для революции, раз она вела ее и проиграла и только вдребезги разрушила Россию, то значит, она только вредна, и в будущей России ей не

должно быть места. Фактически обе возможности, повидимому, осуществляют себя сейчас одновременно и параллельно: угадавшие и побеждают неугадавших и примиряют их с собой.

Под торжествующей революцией следует подразумевать ту, которая продолжается теперь и которая раскрыла всю ширь русских революционных потенций и русских революционных желаний. Иначе получилось бы не признание революции, а отрицание ее, не вхождение в нее в новых для нее целях, а сохранение изжитой цели борьбы с нею.

Русская революция страшна. Но опыт показал, что нет ничего страшного, что испугало бы или остановило русского интеллигента. — Русская революция поставила пред собой великие задания. Но это то, что особенно делает ее русскою, а отчасти интеллигентскою-русскою. — Вхождение в нее требует тяжких жертв и героического самоотречения. Но русский интеллигент только и живет, что жертвами и самоотречением. — Своей программы русская революция не очертила точно; она может достичь и очень многого и очень малого, смотря по обстоятельствам. Тем более: — каждый должен, значит, добросовестно стремиться к тому, чтобы результаты как можно полнее оправдали понесенные во время революции жертвы, а если выйдет не много, а мало, то такова уж, очевидно, судьба и *незачем вообще бороться с революцией ради скромных идеалов, раз она сама волей-неволей ограничится скромными достижениями.*

Замечательно, что те из русских интеллигентов, которые упорно отказываются признать в себе большевистскую природу, гордятся своим званием русского интеллигента. Для них в этом звании заключается противупоставление их ненавистному для них мещанству. С одной стороны они правы, как превосходно проследил г. Иванов-Разумник, интеллигент и мещанин (подразумевается мещанин духа) во всех отношениях противоположны друг другу. Но они глубоко неправы, думая, что можно отделить сколько-нибудь резкой чертой интеллигента от большевика. Такой черты мы уже отчасти показали это, не найти, сколько не ищи. Однако, если по самому своему существу — по самой своей *идее* — всякий интеллигент в той или иной степени является большевиком, то основной вопрос настоящей статьи об обязанностях русской интеллигенции в отношении революции с данного пункта начинает требовать значительно иной формулировки. Он превращается в вопрос об обязанностях русской интеллигенции в отношении к самой

себе или — что тоже самое — о *самоопределении интеллигентского большевизма через революцию.*

На эту последнюю формулировку нашего вопроса да будет позволено обратить усиленное внимание. В ней сами собой находят свое выражение и отражение все главнейшие контраверзы не только философии русской революции, но и философии новейшей русской истории в ее целом. Более же конкретно вопрос об отношении интеллигенции к революции сводится к следующему: — *пока существует такая русская интеллигенция, какова она сейчас, революция в России не может быть изжита.* Изжить русскую революцию — значит изжить прошлую и современную русскую интеллигенцию. Но вместе с тем *тщетно пытаться изжить русскую интеллигенцию, не удовлетворив предварительно всех главнейших требований русской революции, не проделав полного ее пути.*

Таким образом, русская интеллигенция и русская революция как-то совершенно нерасторжимо, едва-ли не мистически, связаны друг с другом. Именно это мы и имели выше в виду, утверждая в развитие мысли Булгакова, что всякая русская революция непременно должна оказаться интеллигентской. Всякая русская революция — скажем мы теперь — непременно должна оказаться интеллигентской в том смысле, что в ней, единственным доступным по историческим условиям путем и при посредстве испытаннейших своих служителей в лице интеллигентов, ищет полностью осуществиться в мире пылкий и своеобразный русский разум русский интеллект. Нельзя бороться за Россию и ее великое мировое место, не будучи вместе с русской интеллигенцией и русской революцией. Кто не хочет быть с русской интеллигенцией и русской революцией, тот враг России и мировому прогрессу. Кто борется мечом или хитростями с русской революцией, не имея ничего одинакового или лучшего противопоставить ей взамен, тот лишь вольно или невольно готовит ужасы мировой революции, которая, при спокойном торжестве революционной России, легко вылилась бы в мирную и безболезненную эволюцию. Жестоко и несправедливо заподозревать противосоветскую русскую интеллигенцию в сознательном стремлении вредить своей родине и во вражде к мировому прогрессу. Очевидно, причина ее оппозиции совершающемуся в России *исключительно в непонимании* ею истинного своего долга. Жертвенная, она проглядела, какая жертва от нее требуется. Жаждущая великого, она испугалась мерок и путей великого.

V.

Каждый, не понявший революцию, не понял ее по своему.

Одно непонимание у П. Б. Струве, как главы углубленного русского интеллигентского консерватизма. Совсем иное—у П. Н. Милюкова, оффициального вождя нашего либерализма. Еще иное—у А. Ф. Керенского и Н. Д. Авксентьева, в качестве крупнейших представителей умеренного русского революционизма. В этом пункте вопрос о взаимоотношениях между интеллигенцией и революцией сам собой превращается в вопрос об отношении между революцией и русским консерватизмом, русским либерализмом и умеренным русским революционизмом. И здесь, как и во всем предыдущем изложении, нам много должны помочь «Вехи» и вызванная ими к жизни обширная литература.

Итак, в чем вина и ошибка П. Б. Струве? В чем его непонимание революции?

На наш взгляд, коренная его ошибка заключается в том, что он исходил из мысли о закончившейся в 1905 году русской революции потому не предвидел никакой новой революции. Если бы февраль и октябрь 1917 г. никогда не пришли он остался бы во многом правым. Действительно, результаты «освободительного движения», вызывавшего столько надежд и стоившего стольких жертв, не могли показаться особенно утешительными тому, кто ценит жертвы и хочет за них достижений великих, безусловных. Как можно требовать уважения и даже любви к революции, когда она с его точки зрения—обречена носить в себе минимум три роковых порока. —Во-первых, она не способна создать ничего достаточно ценного и не оправдывает затраченных на нее жертв. Во-вторых, она оставляет после себя развращенную ею и ни на что непригодную интеллигенцию. В третьих, своими неудачами она вселяет в последующих поколениях чувство уныния и разочарования и делает их неспособными к работе на пользу других, нереволюционных, форм прогресса. Следовательно, в дальнейшем все равно приходится не только двигаться потихоньку и осторожно, как если бы революции и не было, но еще и залечивать причиненные ею раны. В целях такого залечивания ран Струве и предлагает смирение, самоуглубление и самоперевоспитание в религиозном духе. Благодаря перевоспитанию создадутся новые здоровые поколения, в правительстве и обществе сложится здоровая атмосфера и тогда не понадобятся уже и никакие революции и никакие жертвы.

Поскольку подобной проповедью Струве способствовал перевоспитанию русского общества, он был прав и полезен. Но как только наступила вторая русская революция, так силою вещей он превратился в обманщика. Невольного, — но все же обманщика.

В жизни целого нашего народа случилось то, что случается так часто в жизни отдельных лиц. Богатую барышню отдают в институт и обучают пенью, танцам и изящным манерам на радость будущему богатому жениху. Но вдруг родители барышни умирают, институт брошен вместо богатого—в мужьях сельский учитель, вместо пения и танцев—кухня, стирка и работа на огороде. Бедной женщине и так тяжело, а тут еще письмо из столицы от бывшего наставника: «вы созданы для красоты, бросьте эту пошлую жизнь»... Сейчас Струве в отношении к России представляется мне как раз таким наставником. Он упорно не хочет понять, что самым фактом новой революции, как смертью одна полоса русской жизни оборвана и другая, совершенно новая, начата. Прощайте, грезы о балах, приходится приниматься за труд. И вся задача отныне, в том, чтобы труд послужил источником не несчастья, а счастья. Но если бы только в этом одном непонимании заключалась вина Струве пред революционной Россией. К несчастию, и для него самого, и для всего русского консерватизма, и для всей России вина его неизмеримо крупнее. Вместе с остальными авторами «Вех» он с полной отчетливостью уяснил себе невыгодность и опасность неудавшейся, половинчатой революции. В таком случае его прямой долг был по возникновении второй революции помочь ей не остаться половинчатой, обеспечить ей успех. За каждый ее лозунг должен был бы хвататься он и чем шире и абстрактнее лозунг, тем крепче держаться за него. Крупный экономист, человек точных цифр и вычислений, как он не сопоставил в своем уме: первая революция, не стоившая и тысячной доли тех жертв, что вторая и все-таки довольно много давшая, очень многим морально подрезала крылья. Из них же первый он сам почувствовал в качестве автора «Вех», что *великий народ не может безнаказанно нести тяжести жертв неискупленных*, что ему невыразимо мучительно от их сознания. Так как же должен страдать этот великий народ после неисчислимых жертв теперешнего лихолетия, если ценою их не достигнет великих все-оправдывающих результатов! Хватит-ли у него в дальнейшем моральных сил снести бремя собственного осуждения и осуждения других народов? Способен-ли он будет дальше жить в ясном сознании, что он преступник, негодяй, идиот, разрушивший все, не будучи ни пьяным, ни одержи-

мым и взамен... ничего! решительно ничего!!! Невольно или нарочно—но над этой стороной вопроса о срыве революции все вообще избегают задумываться. У приверженцев идеи борьбы с Лениным до конца и во что бы то ни стало откуда то берется уверенность что русский народ, обесчестив, умертвив и затем разрезав на куски мертвое тело матери своей России, спокойно утрет пот с лица и примется за очередные дела как будто ничего не случилось. Если это можно назвать исторической концепцией, то я не знаю концепции более жуткой. Приходится думать, что она просто не понята—как и многое теперь—своими собственными приверженцами.

Нет, пусть знает каждый, что нам теперь другого выбора нет: или все мы, русские, взятые вместе, преступники, или мы делаем великое дело. Мы — преступники, если просто растлеваем и умерщвляем нашу страдалицу-родину, чтобы вернуться к старому или получить на конеечку нового. Мы велики, если благодаря нашим жертвам восторжествует гений революции. После ужасов революции неизбежно наступит период счастия, нас охватит творческий под'ем — мы ясными глазами сможем глядеть в будущее. После ужасов преступления... надо же хоть немного знать народ русский: *он не способен будет вынести ужасов собственного преступления!* Он никогда не найдет в себе сил для морального самовоскрешения. Его личная и всемирно-историческая жизнь тогда кончена на всегда. И представить себе только: этого не понимал и не понимает тот самый Струве, который так живо чувствует «мистику государства» или мистику национального духа и который так любит говорить о них. Ах, поменьше бы мистики всякого рода и побольше здорового чувства действительности! Поменьше бы разговоров о религии и идеалах и побольше, подлинной интуитивной религиозности, живого ощущения идеала. Иначе — за виною накапливается вина, за обвинением обвинение. Иначе полный сумбур...

К Струве, как представителю «Вех», с полным правом можно было бы обратиться приблизительно со следующею речью:

— Вас возмущает отсутствие смирения в русских интеллигентах и их любовь лезть в спасители России. Так зачем же вы сами мнили себя всероссийскими величествами только потому, что у вас из-под ног еще не был вырван Севастополь? — Вы против героических экстазов и против максимализма. Но это-ли не максимализм мечтать сокрушить целую Россию за то что она красная, поселить ужасающую анархию с тем, чтобы из нее потом родилась еще более ужасная реакция и все это ради мысли... о постепен-

ном и безболезненном прогрессе? — Вы против нетерпимости, утрированной «принципиальности» и революционности. Поверьте, что мало кто теперь больше вас страдает этими грехами, которые еще усиливаются грехом самопротиворечия. — Неправда, что вы за государство: вы *за ваше представление о государстве*, за государство, к которому привыкли с детских лет и которое изжило себя уже задолго до вашего рождения. — Неправда, что вы за слияние интеллигенции с народом. Иначе вы не пошли бы в стан тех, кто спит и видит вновь согнуть народ в бараний рог. — Вы очень проницательно указали, что идея личной ответственности с интеллигенции должна быть распространена и на весь народ. Спасибо вам за это. Но как же вы не видите, что весь смысл второй октябрьской революции в том и заключается, чтобы управление страной перешло к самому народу, чтобы он сам взялся управлять ею, как умеет и как хочет, чтобы он сам делал ошибки, но сам же и расплачивался за них, т. е. чтобы он сам и только он был в будущем ответственен за свою судьбу?

— Вы принадлежите к тем, что составляют цвет русской образованности. И вместе с тем вы упорно повторяете нелепую сказку о том, что «все зло от кучки людей», случайно захвативших власть. Чем эта ваша теория революции отличается от той космологии, в силу которой мир стоит на трех китах? И вы еще хотите, чтобы вам в чем-либо верили после этого! — Вы чувствуете мистику государства и нации. В таком случае вы обязаны чувствовать и мистику революции. В особенности, раз вот уже четыре с половиной года, как мы во власти величайшей из всех революций. — Вам хочется, чтобы Россия посвятила себя служению идеалу высокому и безусловному, «национальному и универсальному». Если бы вы не были ослеплены ненавистью и не обмануты прошлым, вы — такой глубокий и смелый в вашей мысли — легко признали бы, что именно этот идеал и выковывается сейчас в России, именно за него и мрет она с голоду, истекает кровью своих армий, с утра до ночи думает и говорит в безчисленных советах, комитетах, конгрессах. Вы возмущены моими словами? Или — еще хуже — вы улыбаетесь? Так знайте же, что теперь каждый приступ вашего возмущения, каждая такая ваша улыбка—новый удар по России, ядовитое семя, из которого растут и множатся все новые и новые ее страдания. Не ваш гнев и не ваши насмешки нужны сейчас России, а ваша работа на пользу ей, *какова бы она, Россия, ни была*. Что же нужно вам, чтобы выйти из тупика, в котором вы почувствовали себя после девятьсот пятого года, из которого смело вырвались в девятом и в который снова попали в семнадцатом? И очень много

и очень немного. *Вам нужно понять, что революция совершилась и вам нужно принять революцию.* И если вам удастся это, вы увидите, как поразительно гармонически сочетается все, что вы писали в 1909 году с тем, что вам придется делать в конце 1921 года. Потому что — еще раз, — пока не изжита и не восторжествовала революция, та русская культурная и интеллигентская традиция, которую вы ищете и которой хотите служить, есть прежде всего *революционная традиция.* Вы заметили это лучше всех, но — увы! — не сделали правильного вывода. А главное: — решительно отвергайте, как нелепое и, да будет позволено так выразиться, — наглое притязание присвоить каким-нибудь содержаниям величество национального духа. Стремитесь лишь к тому, чтобы «в духе и истине» служить этому величеству. А для этого нужно не указывать властной рукой творческому процессу жизни его путей, а пролагать и расчищать их для свободного развития, памятуя, что только свобода творчества обеспечивает национальной культуре полноту и богатство содержания, красоту и изящество формы. Ведь, абсолютных материальных начал национального бытия нет и быть не может.

Иное, как сказано, непонимание революции у русского либерализма. Он никогда не был противником революции. До нее он все время подготовлял ее перед 1905 годом. После нее он, насколько мог, воспользовался ее плодами. Когда «Вехи» напали на нее, он взял ее под свою авторитетную защиту. Когда революционеры смеялись над ним за его «если возможно, то осторожно» он мудро прощал им. В чем же дело? Почему он проявляет такую ненависть ко второй революции? Почему он так упорно отказывается понять ее? Мне представляется, что главных причин здесь три. Первая причина та, что русский либерализм неправильно оценил свои собственные социальные силы и свое социальное место в России. Вторая причина та, что он до сих пор не понял об'ема сил, заданий и возможностей ныне переживаемой революции. Третья причина: — он никак не хочет оценить тех возможностей, которые одновременно она принудительно налагает на него.

В самом деле:

Русский либерализм—особенно во образе кадетизма —приобрел значение определенной и крупной политической и социальной силы в итоге конституционных реформ 1905 — 1906 гг. и переворота 3-го июня 1907 года. Приоткрыта была дверь в царство эволюционного прогресса, намечены были пути ко всем новым и новым реформам: к революционным методам больше уже нельзя было прибегать. Вместе с тем власть представлялась такою, на которую предстояло

медленно и упорно давить в целях удовлетворения народных желаний, но которую напрасно пытаться взорвать. При этих условиях нельзя было надеяться сразу на многое, но каждую минуту можно было достигать некоего нового и полезного «кое-что». Выражаясь образно, нужно было только сверлить; сверлить осторожно, постепенно и на законном основании. Всякий, кто был недоволен настоящим, обязывался к подобному сверлению во имя будущего; а так как недовольны были почти все, то сверлением и занимались очень и очень многие. Таким образом, всецело лишь под влиянием основных условий внешней политической обстановки, сложились после 1905 года сила, тактика и программа русского либерализма, полуконсервативного и полуреволюционного.

Но вот под влиянием мировой войны в русской жизни произошел внезапный и резкий перелом: вспыхнула новая революция. Сначала казалось, что революция остановится на том, ради чего она началась — на ответственном министерстве. Нет, не остановилась. — Казалось, что ей главным образом нужно увидеть эс-эров и эс-деков у власти. Нет, почему-то она поспешила перейти на сторону «кучки большевиков». — Казалось, что большевистская власть «лопнет» через две недели. Вот уже скоро четыре года, как она все еще не лопается. — Казалось, что ее можно легко сокрушить с помощью офицерских добровольческих армий. Нет, не смотря на весь их героизм, не сокрушили. — Иностранцы сокрушат?! И иностранцы не сокрушили. — Рабочие всего мира отвернутся от них за их ужасы? Рабочие упорно тянутся к ним и поддерживают их.

Короче говоря, революция преодолела все преграды, уверенно и властно вошла в русскую жизнь и накрепко утвердилась в ней. Удалось ей это как раз потому, что она не послушалась либералов и всех близких к ним по программе и по темпераменту, а повела большую игру и поставила перед собой большие цели. Русского крестьянина и рабочего соблазнило не то, что он получит в собственность лишних пять десятин земли, и не то, что он сам себе выдаст патент на умеренность и аккуратность в законно-избранном Учредительном Собрании. Его соблазнила мысль пострадать за рабочих и крестьян, за униженных и оскорбленных всего мира. Чисто по-русски — «пострадать». Он ничего не понимал, когда ему говорили: вою̆й с немцем лично ради себя. Он не верил, когда его призывали все взять себе ради его собственной выгоды. Но он поверил и взялся за оружие, когда ему сказали, что он призван убить зло в мире и насадить в нем вечную справедливость. Воистину все изменилось в России с революцией. Все эле-

менты старой жизни исчезли или вошли в неразложимое соединение с элементами новыми, выдвинутыми зараз и прошлым, и настоящим, и будущим России. Раздвинулись совершенно новые масштабы. И вот после всего этого цвет русской интеллигенции, мозг страны—русские либералы—все еще знай себе сверлят маленьким сверлом в надежде высверлить хорошенькую маленькую дырку. И все еще не замечают, что перед ними не скала романовского полу-абсолютизма, а громадный кратер от страшного революционного взрыва, что жалкое их сверло болтается в воздухе и что вот-вот кратер поглотит и их самих! Белокаменная Москва с ее сороками сороков — столица Третьего Интернационала. Русский патриарх — авторитет для западных коммунистов. Еврей-эмигрант Троцкий глава и кумир самой сильной—и не менее христолюбивой, чем прежде—армии в мире. А тут, в наших эмигрантских либеральных кругах, все еще мучаются над вопросом, что лучше для России: конституционная монархия или республика? И какая республика американского или французского типа? И хорошо ли, что Милюков сел рядом с Авксентьевым или это очень, очень дурно с его стороны и Россия никогда ему этого не простит?

П. Н. Милюков первый заметил опасность, пред которой очутилась его партия. Он первый почувствовал, что еще немного и весь ее моральный кредит, все ее воистину прекрасное прошлое окажутся безсильны спасти ее от грозного приговора истории, от вечных насмешек потомства. И вот он дерзнул заявить, что теперь вместо монархии он за республику, вместо униторной России за Россию федеративную, вместо того, чтобы держать за шиворот окраины он протягивает к ним свою руку для дружеского приветствия. С помощью кронштадского восстания (увы, восстания все-же он дошел и до признания советов. Он уже теперь «без кавычек» говорит о «заветах революции», хотя и думает, что революция совершенно выявила себя и исчерпала к ноябрю 1917 г. После, я абсолютно уверен в этом, он дойдет и до ясного усвоения смысла новейших революционных заветов. Если он всегда запаздывает и отстает, то у него есть на это уважительная причина: его партия двигается по пути уяснения происходящего еще медленнее, чем он, и он каждую минуту рискует совершенно отколоться от нее. Однако, мы уже отмечали, что П. Н. Милюков способен и на решительные жесты. Пусть же он обратит внимание, что то, что «очень много» в его теперешнем поведении для него самого, то безконечно мало по сравнению с истинными требованиями момента. Пусть он оглянется на своих соратников: больше

половины их отказались следовать за ним и он сам ушел от них. Ну, а где новые? Кто к нему примкнул за это время и кто может примкнуть к нему? Пока он тратит всю свою энергию, чтобы усидеть сразу на трех или четырех стульях и согласовать пять или шесть несогласимых резолюций, молодые поколения русских либералов, которые воспитались на нем, но для которых не прошло даром и воспитание революции—начинают все более и более смотреть на него как на чужого. Его тактическое искусство им уже не импонирует:—им теперь не до тактических тонкостей. В его гибкости они усматривают проявление того «нигилизма», о котором говорилось выше и который пора уже изжить. В итоге четырех с половиной лет революции закрепилось уже многое, чему можно и должно служить во имя постепенного и мирного эволюционного прогресса. Обязанность всякого либерализма двигать прогресс именно таким образом. До революции русский либерализм мог служить маленьким целям, потому что большие были недостижимы. Теперь обязательны даже не большие цели, а великие. Понятия эволюции, демократии и прогресса могут и должны быть расширены настолько, насколько это поддерживается революцией и не грозит ей крахом. А главное: либерализм никогда не плетется в хвосте прогресса; он ведет его. Поэтому, если бы в конце концов П. Н. Милюков дошел даже до коммунизма и стал проповедывать мировую революцию и зачислился в красную армию для борьбы с Польшей, но все это с запозданием, т. е. когда уже другие требования для творчества прогресса, то все равно молодой русский либерализм не согласился бы видеть в нем больше своего вождя. Таким образом, вопрос приятия или неприятия всей русской революции есть «быть или не быть» для последующего русского либерализма. Только приняв ее, он сгладит все те черты, которые отталкивали от него многих в прошлом: эластичность, граничащую с оппортунизмом, отсутствие достаточно широкого кругозора и недостаточную настойчивость в отстаивании своих идеалов. Можно даже утверждать, что *переделывая все, великая русская революция впервые оказывается способной открыть пути для яркого и могучего русского либерализма, как после нее-же впервые становится возможен прогрессивный и устойчивый русский консерватизм.*

В заключение несколько слов об умеренно революционных партиях. Их вина пред революцией особенно тяжка. Созданные в предреволюционной обстановке и расчитанные лишь на революционную борьбу, а не на революционное творчество, все они оказались бессильны уловить пульс революции. Они торопили ее, когда скорее нужно было ее

удерживать; они принялись удерживать ее, когда уже было поздно и когда ей стало не до них. Они были уверены, что уставчики и программочки, выработанные на досуге до революции, буква в букву начнут осуществляться во время революции. Каждая партия была уверена, что именно теперь-то и пришло ее время и ревниво стала бороться за господство с ближайшими по духу партиями. Их вожди почему-то решили, что раз они вожди партий, то — значит — они и вожди народа. Заметив, что революция отвертывается от них, они обиделись на нее и очень во многом в последующей борьбе их с нею проявилась одна лишь мелкая личная обида. Испуганные тем, что революция все более и более устремляется влево, они машинально бросились вправо и очутились в радостных об'ятиях своих недавних противников: промышленников, помещиков, генералов. Одним, как Бурцеву и Алексинскому, новая компания пришлась вполне по душе и теперь они еще и не всякого генерала подпустят к себе. Другие то и дело разыгрывают сценки и трюки из старинных водевилей: поцелуются и тут же плюнут, — опять поцелуются и опять плюнут .А ведь. все-таки целуются. К тому же, все виднейшие революционеры успели побывать министрами и это на них тоже сказалось: они удивительно обуржуазились и обюрократились. Если даже они отказываются иметь дело с помещиками и генералами, то это потому, что у них есть ходы к самому Бриану и даже к самому Мильерану. Куда ни шло еще, если бы только они обуржуазились персонально. Почему, в самом деле, другие могут собираться в отличных помещениях, а они не могут? Почему не печатать им своих резолюций на роскошной веленевой бумаге и на трех языках? Но гораздо печальнее для них то, что их программы давным давно потеряли всякий революционный привкус и превратились в одно из многих революционных недоразумений. В области внутренних политических отношений они как революционную новость выдают заветы конца 18-го века, в области международной политики они горой стоят за принцип самоопределения народностей, тоже уж не из молодых, достаточно затрепанный по всем министерским канцеляриям и наглядно проявивший свою историческую реакционность (вне очень серьезных коррективов). Страннее же всего то, что умеренные революционеры, о которых речь, органически неспособны понять *международный и мировой смысл* русской революции и настойчиво поощряют международную реакцию, в которой, разумеется, первая захлебнется — если не устоит — страдалица Россия. Таким образом, перед умеренными революционерами сейчас три выхода: или они примирятся с революцией и подчинятся ей—

тогда они снова станут революционерами; или они превратятся в главную опору реакции, как Бурцев, Алексинский и Савинков; или же они так и останутся пожизненными Буридановыми ослами, мотающими головой из стороны в сторону от сена контр-революционного к сену слишком революционному. И в первом, и во втором, и в третьем случае, им нет места в будущей России, как самостоятельному политическому типу. Их песня спета еще 27 октября 1917 года. Эхо этой песни слышалось, правда, и позже, но вольно же было нам принимать эхо за самую песню. Остается надеяться, что природная внутренняя честность наших умеренных революционеров в отношении к своему революционному долгу поможет им, в конце концов, выбрать первый из отмеченных путей. Если они не захотят сделать этого ради торжества непонятой ими революции, то пусть сделают ради ее преодоления. В последнем итоге то и другое совпадает.

VI.

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием—слушайте Революцию».

Так указал Александр Блок. Он в числе тех, кто понял и русскую интеллигенцию, и русский народ, и русскую революцию. Говорят, позже он разочаровался в революции. Не знаю, так-ли это. Мало-ли что говорят; особенно за-границей. Да это и не существенно. Пусть разочаровался, устал, пал духом. Кто станет винить его за это? Какой можно сделать из этого *вывод?* Только тот вывод, что революция *больше* даже, чем Александр Блок ,и что те, кто ведут ее до сих пор почти с самого начала, оказались *более сильны* энергией и верой, чем он провидением. Достаточно, что, слушая Революцию в минуту одного из своих озарений, он спросил себя: — «Что же задумано?» И не с насмешкой, не с недоверием, не со злобой, а с гордостью за Россию ответил: — «Переделать все».

Приведу полностью его ответ:

Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью.— Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное—называется мятежом, бунтом, переворотом. Но *это* называется *революцией.*

«Она сродни природе. Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Революция, как грозный вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное, она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот, все равно, всегда — *о великом*.

«Размах русской революции, желающей охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет — гадать не нам), таков: она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные снегом страны — теплый ветер и нежный запах апельсинных рощ; увлажнит спаленные солнцем степи юга — прохладным северным дождем. — «Мир и братство народов» вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши может слышать.

«Русские художники имели достаточно «предчувствий и предвестий» для того, чтобы ждать от России именно таких заданий. Они никогда не сомневались, что Россия — большой корабль, которому суждено большое плавание. Они, как и народная душа, их вспоившая, никогда не отличались расчетливостью, умеренностью, аккуратностью: «все, все, что гибелью грозит», таило для них «неиз'яснимы наслаждения» (Пушкин). Чувство неблагополучия, незнание о завтрашнем дне, сопровождало их повсюду. Для них, как для народа, в его самых глубоких мечтах, было *все или ничего*. Они знали, что только о прекрасном стоит думать, хотя «прекрасное трудно», как учил Платон».

В приведенных словах ярко обрисована душа интеллигента-большевика в узком смысле слова. В них — историческое и логическое об'яснение современного русского большевизма. В них—его историческое *оправдание*. Все вело в России к революции и к большевизму. Революция и большевизм для России одно: без революции большевики лишь кучка «фанатиков» и «бандитов»' — без большевиков революция лишь переворот, бунт, погром, анархия без прорыва в будущее и без надежд на будущее. Пока не было революции, правы были те, кто призывал бороться с прирожденным русским революционным экстремизмом: его дело страшное и его методы жестоки; лучше бы обойтись без них! Пока в начале революции была еще надежда остановить революционный разлив во имя более экономного перехода в будущее, во имя сохранения человеческих жизней, во имя любви к материальной культуре,—нель-

зя было не стремиться укротить революцию (чтобы вместо нее и как-то по иному, но сделать ее-же дело). Но революция идет и идет. Растет. Ширится, Углубляется.

Тут уже началось непонятное:

Во имя немедленного свержения большевиков, с ними ведут борьбу годами. — Во имя сбережения человеческих жизней, людей бросают сотнями тысяч на белые фронты, в концентрационные беженские лагери, обрекают на голод, на преступления, на проституцию, превращают в спекулянтов, неврастеников, бездельников. — Во имя преодоления экстремизма, сами превращаются в экстремистов, но наизнанку, что еще хуже: белый экстремизм это озверелое желание, чтобы от революции остались одни только разрушения и чтобы ценою их решительно ничего не было создано. — Во имя сбережения материальных богатств России, взрывают мосты, разрушают города под предлогом: «вредим большевикам». — В целях сохранения уважения к прежним основам русского политического и социального бытия делают все, чтобы над ними повисли исступленные проклятия отчаявшихся.

И вот допустите, что революционная власть насильственно свергнута. Поехали в Россию Авксентьев, Алексинский, Бурцев, Гучков, Керенский, Милюков, Савинков, Струве. Каким-то чудом они сумели не перессориться снова и снова, а мирно выработать долгожданную «общую линию». Эта общая линия мне представляется в виде Учредительного Собрания на основе прямого, равного и прочая, возглавляемого каким-нибудь генералом. — Врангелем или другим. Наступает период строительства новой России. Выстроили и сошли с жизненной сцены удовлетворенные: в России монархия по типу английской или республика по типу Соединен.-Штатов. Чего же лучше? Однако, беда вся в том, что когда мы будем копировать Англию и Америку, как образцы политического благоустройства, и Англия и Америка будут упорно бороться за то, чтобы стать совсем другими. Когда мы будем думать, что наступила эра успокоения, зачнется в ужасах эра нового всемирного смятения. Идеалы великой русской революции окажутся насильственно приглушенными, но они, конечно, не умрут. Их будут провозглашать, ими будут жить по прежнему и русские революционные массы и иностранные. «Жалкие остатки» русской интеллигенции вдруг почувствуют, что только в них свое, русское, большое и выстраданное. И тогда-то впервые они полюбят эти идеалы, как не любили еще никогда и тем сильнее полюбят, чем более жестоко они их обманули перед тем.

А после «непонятное» будет все нагнетаться и нагнетаться в грядущей русской жизни: придушенные нашими призрачными либералами и революционерами, истинно революционные идеалы сделаются главным двигателем всей последующей истории русского духа и русского политического бытия. Новые поколения начнут спрашивать себя и своих отцов, что же получилось? Чем велик Авксентьев, которому воздвигли памятник Алексинский и Бурцев? Чем велик Гучков, позаботившийся о памятниках для Керенского и Милюкова? Чем велики Савинков и Струве, остатки сил положившие на сооружение пышного мавзолея для Алексинского, Бурцева и Гучкова? И без особенного труда они подведут грустный итог: Не будь их, в России не было бы стольких разрушений в 1917—1921 гг.; стало-быть, главные виновники русской разрухи—они. Не будь их, Россия не плелась бы снова в хвосте остальных стран; стало-быть, это они же испортили международное положение России. Не будь их, прорыв в будущее был бы великим. Социальные неравенства были бы более сглажены, политическое устройство вышло бы более совершенным, внешние отношения покоились бы на более справедливых основаниях. С России брали бы пример все остальные народы, у нее учились бы, ей завидовали бы. Теперь ее попросту считают дурой, бездарностью, мотовкой. Словом, они — и они одни — виновны в самом тяжком из всех политических преступлений: в лишении своего народа права быть гордым или, что тоже, — в убийстве народной души.

Но Бог даст, мрачного чуда не случится. Бурцев с Авксентьевым, а Милюков с Гучковым не столкуются никогда. Значит, не будет в России ни монархии английского типа ни республики типа Соединенных Штатов. Будет что то свое, выстраданное и выкованное революцией. Памятников или вовсе никому не поставят, или поставят их Ленину. И тогда-то станет впервые ясно, что вся русская интеллигенция жила и работала в качестве революционной силы для того только, чтобы создать, испытать и закалить Ленина, чтобы сначала чрез него дать настоящую русскую революцию, а потом чрез него же навсегда или надолго преодолеть ее.

В Ленине старая русская интеллигенция без остатка исчерпывает и изживает себя. После него она или вовсе перестанет существовать, или станет совершенно новою. Последнее — вернее. Ленин, это та цена, которою куплена новая Россия, а с нею и новая русская интеллигенция. Вот если бы его не было, то еще вопрос не выродилась-ли бы она, эта русская интеллигенция, в ближайшем же поколении в мелкодушных мещан, в антиподов интеллигенции. Напротив, раз Ленин *был*, вел революцию как ее признан-

ный вождь и дал ей победы — превращение интеллигенции в мещанство становится исторически невозможным.

Но еще более невозможно и то, чтобы за одним Лениным последовали другие. Нет, отныне надолго или навсегда покончено со всяким революционным экстремизмом, со всяким большевизмом и в «широком» и в «узком» смысле. За отсутствием почвы для него. За ненадобностью .Завершился длиннейший революционный период русской истории. В дальнейшем открывается период быстрого и мощного эволюционного прогресса. Ненавидящие революцию могут радоваться; но, радуясь, они должны все же отдать должное революции: только она сама сумела сделать себя ненужной.

Будущая русская интеллигенция, вышедшая из горнила великой революции, наверное, будет такою, какою ее отчасти видели, отчасти хотели бы видеть авторы «Вех». Только все отрицательное в ней, что раньше проистекало из ее революционного назначения, впредь не будет давать себя знать, исчезнет, сгладится. Философский кругозор ее будет широк, т. к. революция научит ее исключительной смелости мысли и откроет пред нею пути касания самых сокровенных глубин бытия и небытия. В процессе философского самоуглубления в русской интеллигенции впервые выработается единая и прочная «научная традиция», покоющаяся на новом сознании и на смирении. Интеллигенция уже не захочет больше искусственно заменять народ, или принудительно навязывать ему свои воззрения, и потому станет скромной. Она войдет в народ неот'емлемой частью и уже ни о каком ее отщепенстве не может быть потом и речи. В ней просто сосредоточится богоискательство русского народа, — то самое, которое в ней проявлялось и раньше, но которое порою шло дурными, уродливыми путями. И, наверное, это богоискательство будет чисто русским, т. е. таким, в котором наметятся пути примирения абсолютных требований духа с относительностью условий жизни на земле. Быть может, тогда впервые будет понята русскими людьми абсолютная ценность относительного, и во всяком случае, — яснее почувствована очень и очень относительная ценность абсолютных критериев. Конкретно это выразится в том, что русская интеллигенция уловит начала *мистического* в государстве проникнется «мистикой государства». Тогда из вне государственной и антигосударственной она сделается государственной и чрез ее посредство государство — Русское Государство — наконец-то станет тем, чем оно должно быть: — «путем Божиим на земле». Совершенно несомненно, что и в будущем русская интеллигенция не сделается однодумной; в ней никогда не сольются воедино разные течения мысли ,в ней никогда не прекратится борьба идей. Напротив

она более чем когда-либо станет местом скрещения идей. В области идей чисто политических, консерватизм, либерализм и революционизм, неизбежные во всякой социальной жизни как три основных типа политического творчества обязательно разобьют русскую интеллигенцию на три лагеря. Но это уже не будут лагери озверелых врагов. Это будут лагери трех армий, разными путями идущих на общего врага: на грехи и бедствия социальной жизни. Таким образом, интеллигенция окажется нужной будущей России, как сила мощного социального прогресса в прочном социальном мире. Нужная России, она явится нужной и всем остальным народам в их борьбе против губящего их мещанства духа и в их стремлении к социальной справедливости.

Прибавлять ли, что такая русская интеллигенция имеет все права на существование и что только став такою, она в состоянии оправдать свои прошлые грехи? Повторять-ли, что единственный путь для этого — естественное завершение революции, без срывов, без тинистой контр-революции? Русская интеллигенция постепенно начинает понимать это. Скоро, наверное, поймет вполне. И теперь вопрос только в том: совершится-ли приятие нами революции раньше, чем в борьбе с нею волны анархии временно захлестнут Россию, или же *для приятия революции* нам суждено пройти через период новых ужасов?

Неужели суждено?..

Ю. Ключников.

PATRIOTICA.

I.

В 1905 году, в разгар русско-японской войны группа русских студентов отправила в Токио телеграмму микадо с искренним приветом и пожеланием скорейшей победы над кровавым русским царем и его ненавистным самодержавием.

В том же 1905 году та же группа русских студентов обратилась к польским патриотам с братским приветом с пожеланием успеха в борьбе с царским правительством за восстановление польского государства и свержение русского абсолютизма.

Прошло 15 лет. Капризною игрою исторической судьбы эта группа русских студентов, возмужавшая и разросшаяся, превратилась, худо ли, хорошо ли, в русское правительство и принялась диктаторски править страной.

Тогда нашлась в стране другая группа русских интеллигентных людей, которая стала отправлять в то же Токио телеграммы и даже депутации к микадо и его министрам с искренним приветом и пожеланием победы над кровавыми русскими правителями и ненавистным им комиссародержавием.

Вместе с тем та же группа русских людей обратилась к польским патриотам (в свою очередь созревшим и оформившимся за эти 15 лет) с братским приветом и пожеланием успеха в их борьбе с красным правительством за расширение польского государства и свержение русского деспотизма.

Группа русских пораженцев 1905 года на упрек в антипатриотизме и предательстве родины отвечала обычно, что нужно различать петербургское правительство от русского народа, что русское царское правительство ненавидимо русским народом и что оно не столько русское, сколько немецкое. К этому прибавлялось для вящей убедительности, что

интересы мировой «солидарности трудящихся» должны стоять на первом плане, а русская власть есть их величайший враг. Группа русских пораженцев 1920 года на упреки в антипатриотизме и забвении родины отвечает обычно, что нужно отличать московское правительство от русского народа, что русское советское правительство ненавидимо русским народом и что оно не столько русское, сколько еврейское. К этому присовокупляется для пущей убедительности, что интересы мировой «культуры» должны стоять на первом плане, а нынешняя русская власть есть их непримиримый враг.

В 1915 году нынешние пораженцы были активными защитниками отечества. Гений народа был с ними, несмотря на неудачи японской кампании. Пораженцы же 1905 и 1914 годов стали теперь силою вещей активными защитниками отечества. И гений народа («оборонец» по инстинкту) перелетел к ним. Надолго ли? — До тех пор пока они активно защищают страну...

Какое глубочайшее недоразумение — считать русскую революцию не национальной! Это могут утверждать лишь те, кто закрывает глаза на всю русскую историю, и, в частности, на историю нашей общественной и политической мысли.

Разве не началась она, революция наша, и не развивалась через типичнейший русский бунт, «безсмысленный и беспощадный» с первого взгляда, но всегда таящий в себе какие то нравственные глубины, какую то своеобразную «правду»? Затем, разве в ней нет причудливо преломленного и осложненного духа славянофильства? Разве в ней мало от Белинского? От чаадаевского пессимизма? От печоринской (чисто русской) «патриофобии»? От герценовского революционного романтизма («мы опередили Европу, потому что отстали от нее»). А писаревский утилитаризм? А Чернышевский? А якобинизм ткачевского «Набата» (апология «инициативного меньшинства»)? Наконец, разве на каждом шагу в ней не чувствуется Достоевский, достоевщина—от Петруши Верховенского до Алеши Карамазова? Или, быть может оба они —не русские? А марксизм 90-х годов, руководимый теми, кого мы считаем теперь носителями подлинной русской идеи —Булгаковым, Бердяевым, Струве? А Горький? А «соловьевцы»—Андрей Белый и Александр Блок?...

Нет, ни нам, ни «народу» неуместно снимать с себя прямую ответственность за нынешний кризис— ни за темный, ни за светлый его лики. Он—наш, он подлинно русский, он весь в нашей психологии, в нашем прошлом,—и ничего подобного не может быть и не будет на Западе, хотя бы и при социальной революции, внешне с него скопированной. И если даже окажется математически доказанным, как это ныне не

совсем удачно доказывается подчас, что девяносто процентов русских революционеров—инородцы, главным образом, евреи, то это отнюдь не опровергает чисто русского характера движения. Если к нему и прикладываются «чужие» руки, —душа у него, «нутро» его, худо ли, хорошо ли, все же истинно русское,—интеллигентское, преломленное сквозь психику народа.

Не инородцы революционеры правят русской революцией, а русская революция правит инородцами революционерами, внешне или внутренно приобщившимися «русскому духу» в его нынешнем состоянии...

Не есть ли крутящаяся над Россией буря—сплошное разрушение «чистое отрицание», безнадежно опустошительное, как порыв осеннего ветра или деревенский пожар в знойный летний день? Не есть ли она—гибель русской культуры или, в лучшем случае, тягчайший удар по ней?

Естественный вопрос современников. Ибо они видят как горят усадьбы, как умирает устоявшийся быт, такой очаровательный и благородный, как в дни уличных восстаний расхищаются любимые музеи, как тяжелый снаряд разрывается на куполе Благовещенского Кремлевского собора, как драгоценности Зимнего Дворца продаются на заграничных толкучках, как исчезает, спаленный пожаром, старый Ярославль... Ибо, кроме того, они воочию наблюдают потрясающее опустошение в рядах тех, кто по справедливости считался ими цветом современной русской культуры,—они видят как рука убийц поражает Шингарева, Кокошкина, как в кошмарных условиях изгнания гибнет от нелепых тифов длинная вереница виднейших деятелей общественности и науки, во главе с Трубецким, как один за другим вырываются из строя русскими пулями популярнейшие русские генералы, как покидают родину лучшие ее люди, как, наконец, умирают от голода Лаппо-Данилевский, Розанов и многие другие.

И они готовы, эти несчастные, измученные современники, всеми словами, какие находят, проклинать налетевший шквал, считать его бессмысленно разрушительным, позорной болезнью, падением «когда то великого» народа...

Всякое великое историческое событие сопряжено с разрушением. И вообще-то говоря, культура человечества тем только и жива, что постоянно разрушается и творится вновь, сгорая и возрождаясь, как феникс из пепла, поглощая порождения свои, как сатурн.

Разрушение страшно и мрачно, когда на него смотришь вблизи. Но если его возьмешь в большой перспективе, оно —лишь неизбежный признак жизни, хотя, быть может, и

несколько грустный признак: было бы лучше, если бы творчество не предполагало разрушения и, скажем, ценности языческой культуры мирно уживались бы рядом с явлениями христианства, а быт Людовика XIV—с атмосферою пореволюционной свободы личности.

Но ведь этого нет и по условиям жизни земной, во времени протекающей, быть не может. Взять хотя бы эти два случайно выплывшие примера. Христианская культура, введенная в мир великою и мрачно прекрасною эпохою средневековья, начала с того, что безжалостно сокрушила бесконечное количество несравненных памятников древности. «Нашествие варваров внесло гораздо меньше опустошений в сокровищницу древней культуры, нежели благочестивая ревность служителей Христианской Церкви», говорит историк средних веков Генрих Эйкелн...

Но ведь и средние века обогатили человечество потоком напряженнейшей и своеобразнейшей своей собственной культуры, и само нашествие варваров положило начало новой истории, приобщив свежие народы к разрушенной ими цивилизации, и французская революция внесла в европейскую культуру самозаконный мир своих ценностей, ставших воздухом нового человечества и прославив Францию навеки.

Старый быт умирает, но не бойтесь—новая эпоха обрастет новым бытом, новой культурой.....

Испытания последних лет с жестокою ясностью показали, что из всех политических групп, выдвинутых революцией, лишь большевизм, при всех пороках своего тяжкого и мрачного быта, смог стать действительным русским правительством, лишь он один, по слову К. Леонтьева, «подморозил» загнивавшие воды революционного разлива и подлинно

Над самой бездной,
На высоте уздой железной
Россию вздернул на дыбы...

Над Зимним Дворцом, вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко развевается красное знамя, а над Спасскими Воротами, попрежнему являющими собою глубочайшую исторически-национальную святость, древние куранты играют «Интернационал». Пусть это странно и больно для глаза, для уха, пусть это коробит, но в конце концов, в глубине души невольно рождается вопрос:

— Красное ли знамя безобразит собой Зимний Дворец, — или, напротив, Зимний Дворец красит собой красное знамя? «Интернационал» ли нечестивыми звуками оскверн-

няет Спасские Ворота, или Спасские Ворота Кремлевским веянием влагают новый смысл в «Интернационал»?..

Подобно тому, как современный француз на вопрос: «чем велика Франция» вам непременно ответит: Декартом и Руссо, Вольтером и Гюго, Бодлером и Бергсоном, Людовиком XIV, Наполеоном и великой революцией,—так и наши внуки на вопрос «чем велика Россия?» с гордостью скажут: —«Пушкиным и Толстым, Достоевским и Гоголем, русской музыкой, русской религиозной мыслью, Петром Великим и *великой русской революцией*...

Если мы перенесем проблему из чисто политической плоскости в культурно-историческую, то неизбежно придем к заключению, что революция наша не «гасит» русского национального гения, а лишь, с преувеличенной, болезненной яркостью, как всякая революция, выдвигает на первый план его отдельные черты возводя их в «перл создания». Национальный гений от этого не только не гасится, но, напротив, оплодотворяется, приобретая новый духовный опыт на пути своего самосознания.

И если содержание ныне преобладающего мотива национальной культуры представляется нам далеко не лучшим произведением русского духа, то наша задача—не в безнадежном брюзжании о мнимой «ненациональности» звучащей струны, а в оживлении других струн русской лиры. Русская культура должна обновиться изнутри. Мне кажется, что революция более всего способствует этому перерождению, и я глубоко верю, что гениально оживив традиции Белинского, она заставит Россию с потрясающей силой пережить и правду Тютчева, Достоевского, Соловьева.

Но для этого и здесь мы снова возвращаемся к «политике»—Россия должна остаться великой державой, великим государством. Иначе и нынешний духовный ее кризис был бы ей непосилен. И так как власть революции—и теперь только она одна—способна восстановить русское великодержавие, международный престиж России,—наш долг во имя русской культуры признать ее политический авторитет...

Глубоко ошибается тот, кто считает территорию «мертвым» элементом государства, индифферентным его душе. Я готов утверждать, скорее, обратное: именно территория есть наиболее существенная и ценная часть государственной души, несмотря на свой кажущийся «грубо физический» характер. Помню, еще в 1916 г., отстаивая в московской прессе идеологию русского империализма от наплыва упадочных вильсоновских настроений, я старался доказать «мистическую» в корне, но в то же время вполне осязательную связь между государственной территорией, как главнейшим

фактором внешней мощи государства и государственной культурой, как его внутреннею мощью. Эту связь я еще отчетливее усматриваю и теперь.

Лишь «физически» мощно государство может обладать великой культурой. Души «малых держав» не лишены возможности быть изящными, благородными, даже «героическими»—но они органически неспособны быть великими. Для этого нужен большой стиль, большой размах, большой масштаб мысли и действия,—«рисунок Микель Анжело». Возможен германский, русский, английский «мессианизм». Но, скажем, мессианизм сербский, румынский, или португальский—это уже режет ухо, как фальшиво взятая нота. Это уже из той области, что французами зовется «le ridicule»...

В области этой проблемы, как и ряда других, причудливо совпадают в данный момент устремления Советской власти и жизненные интересы русского государства. Советское правительство естественно добивается скорейшего присоединения к «пролетарской революции» тех мелких государств, что подобно сыпи высыпали ныне на теле «бывшей Российской Империи». Это—линия наименьшего сопротивления. Окраинные народцы слишком заражены русской культурой, чтобы вместе с ней не усвоить и последний ее продукт—большевизм. Горючего материала у них достаточно. Агитация среди них сравнительно легка. Разлагающий революционный процесс их коснулся в достаточной мере. Их «правительства» держатся более иностранным «сочувствием», нежели опорой в собственных народах. При таких условиях, соседство с красной Россией, которого явно побаиваются даже и величайшие мировые державы, вряд ли может повести к благополучию и безопасному процветанию наши окраины, самоопределившиеся «вплоть до отделения». «Очевидно, что подлинного, «искреннего» мира между этими окраинами и большевиками быть не может, пока система советов не распространится на всей территории, занимаемой ныне «белоэстонским», «белофинляндским» и прочими правительствами. Правда, советская дипломатия формально продолжает признавать принцип «самоопределения народов», но ведь само собою разумеется, что этот типичный «мелко-буржуазный» принцип в ее устах есть лишь тактически необходимая manière de parler. Ибо и существенные интересы «всемирной пролетарской революции», и лозунг «диктатуры пролетариата» находятся в разительном и непримиримом противоречии с ним. Недаром же, после заключения мира с белой Эстонией, Ленин откровенно заявил что «пройдет немного времени—и нам придется заключить

с Эстонией второй мир, уже настоящий, ибо скоро нынешнее правительство там падет, свергнутое советами».

Советская власть будет стремиться всеми средствами к воссоединению окраин с центром—во имя идеи мировой революции. Русские патриоты будут бороться за то же—во имя великой и единой России. При всем безконечном различии идеологий, практический путь — един...

Противобольшевистское движение силою вещей слишком связало себя с иностранными элементами и поэтому невольно окружило большевизм известным национальным ореолом, по существу чуждым его природе. Причудливая диалектика истории неожиданно выдвинула Советскую власть, с ее идеологией интернационала, на роль национального фактора современной русской жизни, — в то же время как наш национализм, оставаясь непоколебленным в принципе, на практике потускнел и поблек, вследствие своих хронических альянсов и компромиссов с так называемыми «союзниками»...

Красная армия довлеет себе и зависит от знатных иностранцев. Над Советской Россией не тяготеет рок «верности верным союзникам» и ее международная политика обладает счастливым свойством дерзновения и одновременно гибкости, совершенно непостижимым для групп, законом высшей мудрости, для которых является бурцевская «Cause Commune»...

Достигшим невиданной внешней мощи, вооруженным до зубов странам Согласия теперь гораздо более опасны бациллы внутреннего колебания и волнения, нежели чужеземная военная сила. Как марсиане в фантазии Уэльса, победив земной шар своими диковинными орудиями истребления, гибнут от чуждых им микробов земли, — так нынешние мировые гегемоны, покорив человечество, вдруг начинают с тревогой ощущать в своем собственном организме признаки расслабляющего яда своеобразной психической заразы. При таких условиях большевизм, с его интернациональным влиянием и всюду проникающими связями становится ныне прекрасным орудием международной политики России и слепы те русские патриоты, которые хотели бы в настоящий момент видеть страну лишенной этого орудия какою бы то ни было ценой...

Народное творчество многообразно, оно выражается ведь не только непосредственно. в стихийных, анархических порывах масс, но и в той власти, против которой они направлены. Власть представляет собою всегда более веский продукт народного гения, нежели направленные против нее бунтарские стрелы. Ибо она есть, так сказать, «окристаллизовав-

шийся» уже осознавший себя народный дух, в то время как недовольство ею, да еще выраженное в таких формах («равняй города с землею»), должно быть признано обманом или темным соблазном страдающей народной души. Поэтому и в оценке спора власти с бунтом против нее следует быть свободным от кивания на «народную волю». Эта икона всегда безлика или многолика...

Судороги массового недовольства и ропота, действительно, пробегают по несчастной, исстрадавшейся родине. мы недостаточно информированы, чтобы знать их истинные размеры, но согласимся предположить, что, усилившись, они могут превратиться в новый эпилептический припадок, новую революцию.

Что если это случится? Могу сказать одно: — следовало бы решительно воздержаться от проявлений какой-либо радости на этот счет—«сломили таки большевиков». Такой конец большевизма таил бы в себе огромную опасность, и весьма легкомысленны те, которые готовятся уже глотать каштаны, поджаренные мужицкою рукою:—счастье этих оптимистов, если они не попадут из огня да в полымя..

При нынешних условиях, это будет означать, что на место суровой и мрачной, как дух Петербурга, красной власти придет безгранная анархия, новый пароксизм «русского бунта», новая разиновщина только никогда еще не бывалых масштабов. В песок распадется гранит невских берегов, «оттает» на этот раз уже до конца, до последних глубин своих, государство Российское —

И слягут бронзовые кони
И Александра, и Петра...

Лишь для очень поверхностного, либо для очень недобросовестного взора современная обстановка может представляться подобною прошлогодней. Не мы, а жизнь повернулась «на 180 градусов». И для того, чтобы остаться верными себе, мы должны учесть этот поворот. Проповедь старой программы действий в существенно новых условиях часто бывает наихудшей формой измены своим принципам..

Взятая в историческом плане, великая революция, несомненно, вносит в мир новую «идею», одновременно разрушительную и творческую. Эта идея в конце концов побеждает мир. Очередная ступень всеобщей истории принадлежит ей. Долгими десятилетиями будет ее впитывать в себя человечество, облекая ее в плоть и кровь новой культуры, нового быта. Обтесывая, обрабатывая ее.

Но для современности революция всегда рисуется прежде всего смерчем, вихрем:

— Налетит, разожжет и умчится, как тиф..

И организм восстанавливается, сохраняя в себе благой закал промчавшейся болезни. «Он уже не тот», но благотворные плоды яда проявят себя лишь постепенно, способствуя творческому развитию души и тела.

Революция бросает в будущее «программу», но она никогда не в силах ее осуществить сполна в настоящем. Она и характерна именно своим «запросом» к времени. И дедушка Хронос ее за этот запрос в конечном счете неизбежно поглощает.

Революция гибнет, бросая завет поколениям. А принципы ее с самого момента ее смерти начинают *эволюционно* воплощаться в истории. Она умирает, лишившись жала, но зато и организм человечества заражается целебной силой ее оживляющего яда.

Склоняясь к смерти и бледнея,
Ты в полноту времен вошла.
Как безнадежная лилея,
Ты, умирая, расцвела...

«Запрос» русской революции к истории («клячу-историю загоним!»)—идея социализма и коммунизма. Ее вызов Сатурну—опыт коммунистического интернационала через пролетарское государство.

Отсюда—ее «вихревой» облик, ее «экстремизм», типичный для всякой *великой* революции. Но отсюда же и неизбежность ее «неудачи» в сфере нынешнего дня. Как ни мощен революционный порыв,—уничтожить в корне ткани всего общественного строя, всего человечества современности он не в состоянии. Напротив, по необходимости «переплавляются» ткани самой революции. Выступает на сцену благодетельный компромисс.

В этом отношении безконечно поучительны последние выступления вождя русской революции, великого утописта и одновременно великого оппортуниста Ленина.

Он не строит иллюзий. *Немедленный коммунизм не удался*—это ему ясно, и он не скрывает этого. «Запоздала» всемирная революция, а в одной лишь стране, вне остальных, коммунизм немыслим. «Социальный опыт» только смог углубить уже подорванное войною государственное хозяйство России. Дальнейшее продолжение этого опыта, в русском масштабе не принесло бы с собой ничего, кроме подтверждения его безнадежности при настоящих условиях, а также неминуемой гибели самих экспериментаторов.

Наладить хозяйство «в государственном плане», превратить страну в единую фабрику с централизованным аппаратом производства и распределения — оказалось невозможным. Экономическое положение убийственно и все

ухудшается; истощены остатки старых запасов. Раньше можно было не без основания ссылаться на генеральские фронты, — теперь их, слава Богу, уже нет. Что же касается кивков на внутренних «шептунов», то сам Ленин принужден был признать сомнительность подобных отговорок. Дело не в шептунах: их «обнагление» — не причина разрухи, а ее следствие. *Дело в самой системе,* доктринерской и утопичной при данных условиях. Не нужно быть непременно врагом Советской власти, чтобы это понять и констатировать. *Только в изживании, преодолении коммунизма—залог хозяйственного возрождения государства.*

И вот, повинуясь голосу жизни, Советская власть, повидимому, решается на радикальный тактический поворот в направлении отказа от правоверных коммунистических позиций. Во имя самосохранения, во имя воссоздания «плацдарма мировой революции», она принимает целый ряд мер к раскрепощению задавленных великой химерой производительных сил страны.

Если коммунизм есть «запрос» к будущему, то «скоропадчина» или «врангелевщина» *во всех ее формах и видах* есть не более, как отрыжка прошлого. По тому же неумолимому року Сатурна, не место ей в новой России.

Революция выдвинула новые политические элементы и новые «хозяйствующие» пласты. Их не прейдешь. Великий октябрьский сдвиг до дна всколыхнул океан национальной жизни, учинил пересмотр всех ее сил, произвел их учет и отбор. Никакая реакция уже не сможет этот отбор аннулировать. Здоровая, плодотворная реакция, вершит революцию духа, но не реставрацию прогнивших и низвергнутых государственных стропил. Дурная же реакция есть всегда не более, как попытка с негодными средствами. Прежний поместный класс отошел в вечность, «рабочие и крестьяне» выдвинулись на государственную авансцену...

«Мир с мировой буржуазией», «концессии иностранным капиталистам», «отказ от позиций «немедленного» коммунизма внутри страны»—вот нынешние лозунги Ленина. Невольно напрашивается лапидарное обозначение этих лозунгов:—мы имеем в них *экономический Брест большевизма.*

Ленин, конечно, остается самим собою, идя на все эти уступки. Но, оставаясь самим собой, он вместе с тем, несомненно «эволюционирует», т. е. по тактическим соображениям совершает шаги, которые неизбежно совершила бы власть враждебная большевизму. *Чтобы спасти советы, Москва жертвует коммунизмом.* Жертвует с своей точки зрения, лишь на время, лишь «тактически», — но факт остается фактом.

Не трудно найти общую принципиальную основу новой тактики Ленина. Лучше всего эта основа им формулирована в речи, напечатанной «Петроградской Правдой» от 25 ноября прошлого года.

Вождь большевизма принужден признать, что мировая революция обманула возлагавшиеся на нее надежды. «Быстрого и простого решения вопроса о мировой революции не получилось». Однако, из этого еще не следует, что дело окончательно проиграно. «Если предсказания о мировой революции не исполнились просто, быстро и прямо, то они исполнились постольку, поскольку дали главное, ибо главное было то, чтобы сохранить возможность существования пролетарской власти и советской республики, даже в случае затяжения социалистической революции во всем мире». Нужно устоять, пока мировая революция не приспеет действительно. «Из империалистической войны — продолжает Ленин—буржуазные государства вышли буржуазными, они успели кризис, который висел над ними непосредственно, оттянуть и отсрочить, но в основе они подорвали себе положение так, что при всех своих гигантских военных силах должны были признаться через три года в том, что они не в состоянии раздавить почти не имеющую никаких военных сил Советскую республику. Мы оказались в таком положении, что, не приобретя международной победы, мы отвоевали себе условия, при которых можем существовать рядом с империалистическими державами, вынужденными теперь вступить в торговые сношения с нами. Мы сейчас также не позволяем себе увлекаться и отрицать возможность военного вмешательства капиталистических стран в будущем. Поддерживать нашу боевую готовность нам необходимо. Но мы имеем новую полосу, когда наше основное международное существование в сети капиталистических государств отвоевано».

В этих словах следует видеть ключ решительного поворота московского диктатора на новые тактические позиции. Раньше исходным пунктом его политики являлась уверенность в непосредственной близости мировой социальной революции. Теперь ему уже приходится исходить из иной политической обстановки. Естественно, что меняются и методы политики.

Раньше он непрестанно твердил, что «мировой империализм и шествие социальной революции рядом удержаться не могут»:—он надеялся, что социальная революция опрокинет «мировой империализм». Теперь он уже считает как бы очередной своей задачей добиться упрочения совместного существования этих двух сил: нужно спасать очаг

грядущей (может быть, еще не скоро!) революции от напора империализма.

Отсюда и новая тактика. Россия должна приспособливаться к мировому капитализму, ибо она не смогла его победить. На нее уже нельзя смотреть, как только на «опытное поле», как только на факел, долженствующий поджечь мир. Факел почти догорел, а мир не загорелся. Нужно озаботиться добычею новых горючих веществ. Нужно сделать Россию сильной, иначе погаснет единственный очаг мировой революции.

Но методами коммунистического хозяйства в атмосфере капиталистического мира сильной Россию не сделаешь. И вот «пролетарская власть», сознав, наконец, безсилие насильственного коммунизма, остерегаясь органического взрыва всей своей экономической системы изнутри, идет на уступки, вступает в компромисс с жизнью. Сохраняя старые цели, внешне не отступаясь от «лозунгов социалистической революции» *твердо удерживая за собою политическую диктатуру*, она начинает принимать меры, необходимые для хозяйственного возрождения страны, не считаясь с тем, что эти меры—«буржуазной» природы...

По условиям времени и разстояния составители настоящего сборника были лишены возможности получить с Дальнего Востока от профессора Н. В. Устрялова специальную статью. Но с некоторыми из них он с давнего времени состоит в переписке и присылает им все важнейшее из напечатанного им. В 1920 году в Харбине появилась его книга «В борьбе за Россию», составленная из статей, печатавшихся преимущественно в харбинских «Новостях Жизни». Это был первый решительный шаг по тому пути, на котором ныне сошлись авторы «Смены Вех» и который только один и способен вывести Россию из охватившего ее хаоса. По выходе в свет «В борьбе за Россию», проф. Устрялов поместил в «Новостях Жизни» целый ряд новых статей таких же значительных по содержанию, как и предыдущие.

Под общим названием Patriotica выше подобраны в систематическом порядке—с согласия автора—дословные выдержки из упомянутой книги проф. Устрялова и из его статей, появившихся весной и летом 1921 года. Ниже полностью печатается его статья «Путь термидора», —позднейшая по времени проявления из дошедших в Европу к моменту напечатания настоящих страниц.

II.

В дни кронштадского восстания некоторые русские публицисты в Париже заговорили о «русском термидоре». «Последние Новости» П. Н. Милюкова посвятили даже несколько статей установлению аналогии между процессом ныне вершащимся в России и термидорским периодом великой французской революции.

В какой мере справедливы эти аналогии и что такое «путь термидора?» Термидор был поворотным пунктом французской революции. Он обозначил собою начало понижения революционной кривой. *Путь термидора есть путь эволюции умов и сердец*, сопровождавшийся, так сказать, легким «дворцовым переворотом», да и то прошедшим формально в рамках революционного права. При этом необходимо подчеркнуть, что основным, определяющим моментом термидора явилось именно изменение общего стиля революционной Франции и обусловленная им *эволюция якобинизма в его толпе»*. Кровавый же эпизод 9 числа (падение Робеспьера) есть не более, как деталь или случайность, которой могло бы и не быть и которая нисколько не нарушила необходимой и предопределенной связи исторических событий.

«Если бы Робеспьер удержал за собой власть—говорил Бонапарт Мармону,—*он изменил бы свой образ действий;* он восстановил бы царство закона; к этому результату пришли бы без потрясений, потому что добились бы его путем власти».

Гений Бонапарта в этих словах интуитивно постиг истину, которая впоследствии была вскрыта и подробно доказана историками. 9 термидора не есть новая революция, не есть революционная ликвидация революции. Это лишь один из второстепенных и «бытовых» моментов развития революционного процесса.

«Побежденный людьми, из которых одни были лучше, а другие хуже его,—пишет о Робеспьере Ламартин в своих знаменитых «Жирондистах»,—он имел несчастие умереть в день окончания террора, так что на него пала та кровь жертв казней, которые он хотел прекратить и проклятия казненных, которых он хотел спасти. День его смерти может быть отмечен, как дата, но не как причина прекращения террора. *Казни прекратились бы с его победой так же как они прекратились с его казнью.* (Ламартин, т. IV, гл. 61).

Якобинцы не пали,—они переродились в своей массе. Якобинцы, как известно, надолго пережили термидорские

события,—сначала как власть, потом как влиятельная партия: — сам Наполеон вышел из их среды. Робеспьер был устранен теми из своих друзей, которые всегда превосходили его в жестокости и кровожадности. Если бы не они его устранили, а он их, если бы даже они продолжали бы жить с ним дружно,—результат оказался бы тот же:—гребень революционной волны, достигнув максимальной высоты, стал опускаться...

«*Мы не принадлежим к умеренным*,—кричал кровавый бордосский эмиссар Тальен с трибуны Конвента в роковой день падения Робеспьера, замахиваясь на него кинжалом, —но мы не хотим, чтобы невинность терпела угнетение». Гора шумно приветствовала это заявление и сопровождавший его жест...

А вот эпизод из жизни Колло д,Эрбуа, одного из главных деятелей термидоровского переворота.

Однажды вечером Фукье-Тенвилль (знаменитый прокурор Террора, «топор республики») был вызван в комитет общественного спасения. «Чувства народа стали притупляться, сказал ему Колло.—Надо расшевелить их более внушительными зрелищами. Распорядись так, чтобы теперь падало по пятисот голов в день».— «Возвращаясь оттуда—признавался потом Фукье-Тенвилль,—я был до такой степени поражен ужасом, что мне, как Дантону, показалось, что река течет кровью...»

Можно было бы привести множество аналогичных рассказов и о других героях Термидора: Барере, Бильо-Варенне и проч. Все они были поэтами и мастерами крови. И они-то стали невольными агентами милосердия, защитниками угнетенной невинности!.. Революция, как Сатурн, поглощала своих детей. Но она же, как Пигмалион, влагала в них нужные ей идеи и чувства...

* *
*

Да, это так, Революция божественно играла своими героями, осуществляя свою идею, совершая свой крестный путь. И люди, ее «углубившие» до пропасти, поражали ее гидру, ликвидируя дело своих рук во имя все того же Бога революции... Змея жалила свой собственный хвост, превращаясь в круг — символ совершенства.

«Человечность и снисходительность вернулись в среду революции»—резюмирует Сорель сущность термидора. Это, однако, ни в какой мере не знаменовало еще торжества контр-революционеров. «Революция, казалось, окрепла после падения Робеспьера. Желая избавиться от террористов, французы и не думают отдавать себя в руки эмигрантов.

Самое название этой партии и имена стоящих во главе ее аристократов продолжают означать для большинства французов возврат к старому порядку и порабощение иностранцами. Эмиграция возбуждает против себя лучшее чувство французского народа — патриотизм, и наиболее прочное побуждение — личный интерес». («Европа и французская революция», т. IV, гл. 4).

Революция перерождается, оставаясь сама собой .Ее уродливости уходят в прошлое, ее «запросы» и крайности — в будущее, ее конкретные «завоевания» для настоящего обретают прочную опору. «Победить чужеземцев, пользоваться независимостью, довершить организацию республики» — вот твердая цель общенациональных стремлений. Революция ищет и находит свои достижимые задачи.

Но старые формы ее всестороннего «углубления» еще продолжают некоторое время соблюдаться, хотя дух, их воодушевлявший, уже исчез. *Революция эволюционирует.* «В окровавленном храме перед опустевшим алтарем — описывает Тэн эту эпоху — все еще произносят условленный символ веры и громко поют обычные славословия, но вера пропала...» Однако, постепенно ортодоксальный якобинизм покидается самими якобинцами. «С каждым месяцем, под давлением общественного мнения, они отходят все дальше от культа, которому служили... До термидора оффициальная фразеология покрывала своей догматической высокопарностью крик живой истины и каждый причетник и пономарь Конвента, замкнувшись в своей часовне, ясно представлял себе только человеческие жертвоприношения, в которых он лично принимал участие. После термидора поднимают голос близкие и друзья убитых, безчисленные угнетаемые, и он поневоле видит общую картину и детали ужасных деяний, в которых он прямо или косвенно принимал участие своим согласием и своим вотумом» (Происхождение совр. Франции, т. IV, гл. 5).

Начался отлив революции. Она становится менее величественной, но за то уже не столь тягостной для страны. На сцену выступают люди «равнины» и «болота», смешиваясь с оставшимися монтаньярами. «С Робеспьером и Сен-Жюстом — констатирует Ламартин — кончается великий период республики. Появляется новое поколение революционеров. Республика переходит от трагедии к интриге, от мистицизма к честолюбию, от фанатизма к жадности». Однако, она столь устала от трагедии, мистики и фанатизма, что готова на время им предпочесть даже интригу, честолюбие и жадность...

Диктатура комитетов вызывает протесты и уступает место выборному началу. «Народные комитеты — заявляет

Бурдон — не есть сам народ. Я вижу народ только в местных избирательных собраниях». Не протестуя, таким образом, против самого принципа революции, «термидорианцы» восстают лишь против его своебразного применения Робеспьером и его друзьями. Невольно приходит на память недавний лозунг кронштадцев насчет «свободно избранных советов»...

* * *

Таков «путь термидора». Его торжество обусловливалось его органичностью. В отличие от путей Вандеи и Кобленца, он опирался на существо самой революции, принимая ее основу и подчиняясь ее законам. *Термидорский сдвиг был подготовлен настроениями революционной Франции и совершен Конвентом, т. е. высшим законным органом революции.* «Что обеспечивало Конвенту победу, — по глубокому замечанию Сореля, — так это то, что сила, которой он пользовался, не была контр-революционной: — то была сама вооруженная революция, реагирующая против себя для того, чтобы спастись от собственных излишеств». Это нужно раз навсегда запомнить и иметь в виду.

И когда в наши дни там и сям поднимаются толки о «русском термидоре», необходимо прежде всего усвоить истинные черты и усвоить урок французского. Иначе, кроме «злоупотребления термином» ничего не получится.

Детали, конкретные очертания революции у нас радикально и несоизмеримо иные. В частности, судя по всему, в теперешней Москве нет почвы для казуса в стиле 9 термидора. Но, как мы установили, он и не существенен *сам по себе* для развития революции. Он мог быть, но его могло и не быть, — «путь термидора» не в нем.

Что же касается этого пути, то он уже начинает явственно намечаться в запутанной и сложной обстановке наших необыкновенных дней.

Конечно, он не в белых фронтах и окраинных движениях, вдохновляемых чужеземцами и эмиграцией. Нет, все эти затеи ему не только чужды, но и враждебны, — лишь безнадежные слепцы или контр-революционеры в худшем смысле этого слова могут ими обольщаться. Страна — не с ними. Они — вне революции.

Но он — и не в стихийных восстаниях или голодных бунтах против революционной власти. Эти восстания и бунты, быть может, в известной мере способствуют его зарождению и укреплению. Но по своему содержанию он не имеет с ними ничего общего. Революционная Франция, как ныне Россия, хорошо знала подобные мятежи городков и деревень: — прочтите хронику эпохи (Эврс, Дьепп, Лион,

Вервен, Лилль и т. д.). Однако, они никогда не были победоносны уже по одному тому, что не имели творческой идеи и неизменно оказывались не более, как бесцельными, хотя и естественными, конвульсиями страдания. Победи они, — революционный процесс был бы не плодотворно завершен а лишь бессмысленно прерван, чтобы снова возобновиться...

Путь термидора — в перерождении тканей революции, в преображении душ и сердец ее агентов. Результатом этого общего перерождения может быть незначительный «дворцовый переворот», устраняющий наиболее одиозные фигуры руками их собственных сподвижников и во имя их собственных принципов (конец Робеспьера). Но отнюдь не исключена возможность и другого выхода, — того самого, о котором говорил Бонапарт Мармону: — приспособление лидеров движения к новой его фазе. Тогда процесс завершается наиболее удачно и с меньшими потрясениями, — «путем власти».

* * *

В современной России как будто уже чувствуется веяние этой новой фазы. *Революция уже не та*, хотя во главе ее—все те же знакомые лица, которых ВЦИК отнюдь не собирается отправлять на эшафот. Но они сами вынужденно вступили на путь термидора, неожиданно подсказанный им кронштадтской Горой; — не удастся ли им поэтому избежать драмы 9 числа?

Большевистский орден несомненно сплоченнее, дисциплинированнее, иерархичнее якобинцев. Вместе с тем, Ленин более гибок и чуток, нежели Робеспьер. Если у нас не было Верньо и Дантона, то наши крайние якобинцы крупнее и жизненнее французских, хотя в аспекте «быта» не менее их ужасны. Быть может, они и кончат иначе. Но основная линия развития самой революции, повидимому, остается в общем тою же.

Ныне есть признаки кризиса революционной истории. Начинается «спуск на тормозах» от великой утопии к трезвому учету обновленной действительности и служению ей, — революционные вожди сами признаются в этом. Тяжелая операция,—но дай ей Бог успеха!

Когда она будет завершена ,— новая обстановка создаст и новые формы. Тормоза станут уже не нужны.

«Революция спасается от собственных излишеств». И горе тем, кто помешает в том, с трибуны ли красных клубов, или из жалких эмигрантских конур...

Н. Устрялов.

РЕВОЛЮЦИЯ И ВЛАСТЬ.

В русском интеллигентском сознании к концу дореволюционного периода русской истории сложилось своеобразно-наивное представление о власти, в значительной степени поддержанное своеобразием — на этот раз уже не наивным — самодержавной или лже-конституционной власти последних Романовых. Русские либеральные круги склонны были, с одной стороны, переоценивать значение традиции и «штыков», а с другой, недооценивать значение *социальной базы* в вопросе об условиях *прочности* государственной власти. Этим в значительной степени об'ясняется не только неумение построить власть в первый период русской революции, но и—что более трагично—неумение до сих пор правильно понять и оценить историческое значение нынешней советской власти. Чем, как не наивностью, можно объяснить все те горячие споры, которые в 1917 г. возникали вокруг вопроса о диктатуре Керенского? Неужели для споривших было неясно, что каким бы словом ни прикрывалось безвластие Временного Правительства, все равно дальше слов о власти, эта власть итти не в состоянии? И чем, как не наивностью можно извинить незаглохшие и по сие время рассуждения на тему о «кучке негодяев», захвативших и удерживающих власть при помощи так или иначе купленных китайских и латышских штыков? Даже и переход от ссылок на китайские и латышскиее штыки к ссылкам на террор, для исчерпывающего об'яснения «прочности большевиков», ничуть не подвигает вперед разрешение проблемы. Во всей своей исторической значительности встает тогда другой вопрос: — *как же оказалось возможным организовать самый террор?* Ведь и для его организации одних слов и купленных штыков недостаточно. Всплывают соображения о «демагогическом обмане», о «социальной

иллюзии»... Не правильнее ли, однако, будет говорить об исторической необходимости, о некоей социальной правде, хотя бы реально и неосуществимой?

Переживаемую Великую Революцию принято сравнивать со Смутным временем XVI—XVII веков. Сравнение законное и во многих отношениях плодотворное. Необходимо только при этом сравнении помнить, что — хотя и не о словах спор — не нынешняя Революция является смутой, а напротив, Смута XVII в. была революцией и при том революцией творческой. А затем, при том же сравнении было бы ошибочно забывать о золотом правиле «mutatis mutandis» сопоставлять не случайные исторические формы смуты с отдельными сторонами переживаемой Революции, и постараться извлечь из истории правильный социологический подход к современности. В XVI веке происходит быстрая дифференциация населения России, к которой неуклонно вели политические, как внутренние, так и внешние, и экономические условия русской жизни. Совершенно исключительная роль в этом расслоении принадлежит мобилизации всех ресурсов страны на оборону ее национальной независимости. В результате расслоения к концу XVI в. получилось три взаимно борющихся основных элемента, различно затронутых процессом и неравноценных в отношении стоявших перед государством и его целом задач: значительно пострадавшее и поредевшее боярство со включением «княжат» и монастырей, — многочисленное, но далеко еще не организованное, «служилое сословие» с близким к нему тяглым посадским населением, — и наиболее многочисленное, но и наименее об'единенное, хотя и весьма активное, особенно в лице казачества, полу-крепостное, полу-кабальное крестьянство.

Страдающими элементами из перечисленных трех были первый (боярство) и третий (крестьянство). Из этого, конечно, не следует, что второй элемент благоденствовал. Исключительное внимание к служилым людям и отчасти тяглым (напр. при Иване IV) Московского Правительства не спасало от тяжелого давления экономической отсталости, в которой жила Россия. Требования политические к концу XVI века безпредельно переросли не только силы изнемогавшего под их бременем служилого люда, но и общие условия экономического бытия России. Последнее обстоятельство, является, пожалуй, той красной нитью, которая проходит через всю историю России вплоть до наших дней и окрашивает эту историю в поистине трагический свет. Таким образом, классовая борьба XVI века, осложняемая внешними политическими и внутренними экономиче-

скими условиями, в значительной мере была вызвана превращением на сложной экономической почве Московского княжества в Московское царство, с его колоссальными государственными задачами, реальным носителем которых, как в их конкретных заданиях, так и в их идеологической форме, являлось Московское Правительство во главе с Московским и Всея Руси Князем, а потом Царем .

Выросшее из вотчинного управления Московское Правительство некоторое время продолжало опираться в управлении на тот элемент — боярство — который, сначала сидя на местах, а затем с'ехавшись в Москву, имел в силу традиции и экономической своей мощи авторитет в глазах населения.

Попытки — слабые Василия III, энергичные, чтобы не сказать революционные ,Ивана IV', — построить новую социальную базу для Московской власти, более соответствующую новым политическим, социальным и экономическим условиям русской жизни, были обречены на неудачу. Слишком противоречивы были требования этой жизни, слишком привычны и сильны были бояре, княжата и монастыри, слишком велики жертвы, которых требовало время от крестьянства, и наконец, слишком молоды служилое и тяглое сословие и царское самодержавие, чтобы последнее могло найти в себе достаточно подлинного самоотречения, во имя истинного самоукрепления на основе сотрудничества власти и представительно организованных служилых людей, направить все силы страны на осуществление национально-государственных задач.

Но и неудавшиеся попытки Василия III, Ивана IV и Бориса Годунова были исторически правильны. Это подтвердили с особой наглядностью первые же годы открыто разразившейся Смуты.

Лжедмитрий I, поддержанный по слову Авраамия Палицына «ворами», т. е. казачеством с Дона и Северного Донца, новоприборными служилыми людьми — стрельцами и казаками, набиравшимися правительством из приходцев с севера и из центра, и, наконец, крестьянами, успевшими и на юге, при быстроте раздачи земли в поместья служилым людям, попасть в крепостную неволю, не сумел создать сколько-нибудь прочной власти. Поддержка третьего элемента не могла освободить Лжедимитрия от зависимости от первого элемента — боярства, а то и другое поставило власть в противоречие со вторым — служилыми и тяглыми людьми.

Легкий успех царя Василия Шуйского только лишний

раз доказал возможность в революционные эпохи временного торжества крайней реакции; — ибо во-истину носителем таковой было в начале XVII века боярство с его идеалами XV и начала XVI века. Однако, насколько легка была победа Шуйского, — об'ясняемая прежде всего невозможностью для Лжедимитрия найти прочную социальную базу для своей власти, — настолько же легко эта власть была бы сметена народным, в смысле третьего элемента, движением Болотникова, если бы не присоединение к Болотникову Прокопия Ляпунова и рязанцев с их служилыми интересами, стоявшими в прямом противоречии с интересами «воров». Повинная Сунбулова и Ляпунова спасла жизнь и царство Шуйскому: служилые люди предпочитали временно мириться с боярской реакцией, протянуть ей руку, дабы сначала с ее помощью подавить третий элемент в лице Болотникова, а затем уже расправиться и с нею самой.

Появление на смену казненному Болотникову в том же 1607 г. Тушинского вора временно укрепляет положение Шуйского. Однако, личная неспособность царя Шуйского и смерть талантливого Скопина-Шуйского, наравне с польской интервенцией, этим отзвуком польских мечтаний времени первого Лжедимитрия, делают кандидатуру Владислава вполне реальной, тем более, что с нею определенно связывается надежда на иноземную помощь в деле подавления Тушинцев. Политика Сигизмунда, предзнаменовывавшая отстранение от власти национальных боярства и верхов служилого класса, открыла глаза этому последнему на опасность, таившуюся для него в иностранной польской интервенции еще прежде, чем его представители успели себя связать в Смоленске определенными обещаниями. Иностранное вмешательство в значительной мере способствовало прояснению национального сознания служилого класса. Однако, чисто-военные соображения, побудившие Первое Земское Ополчение принять помощь третьего элемента, погубили дело Прокопия Ляпунова. Только Второе ополчение 1611 г., однородное по своему составу — служилые и посадские тяглые люди — сумело осуществить дело построения власти. Интересно отметить, что, несмотря на личную незначительность Минина и в особенности кн. Пожарского, их делу сужден был успех, тогда как даже такая выдающаяся фигура как Скопин-Шуйский, даже поддержка Новгорода и, вообще, купеческого сословия, связанного с царем Васильем Шуйским, не могли спасти этого последнего. Отказ от боярской реакции и неосуществимых, в силу экономических условий русской жизни, требований третьего элемента, с одной стороны, и осознание служилыми людьми и тяглыми себя в качестве вы-

двигавшихся историей носителей национального единства и бытия, с другой ,позволили Второму Земскому Ополчению не только восторжествовать над своими врагами, но и установить прочную власть, надолго связавшую себя со своей социальной базой и уступившую место другой власти только тогда, когда новая мобилизация всех рессурсов страны уже в XX в. вскрыла с полною очевидностью начавшее уже давно обнаруживаться несоответствие между политическими и экономическими задачами, стоявшими перед Россией и изжившими себя силами поместного дворянства и строившейся на нем самодержавной власти.

Крушение уже давно покоившейся на традиции и штыках самодержавной власти и та легкость, с которой это крушение произошло в момент максимального напряжения сил государства, показали с несокрушимою убедительностью, что самодержавие и вовлеченные им в дело государственного строительства элементы недостаточны для проведения в жизнь задач, выпавших на долю России, что необходимо создать власть на более широкой общественной базе, которая бы соответствовала политическим, внешним и внутренним, социальным и экономическим условиям русской жизни. В поисках этой «более широкой базы», в поисках наивных и нелепо веденных, металась русская жизнь с февраля по октябрь 1917 года. За это время во всей своей трагичности обнаружился тот гипноз, под воздействием которого развивалась русская общественность в дореволюционный период, вся та нереальность русского политического мышления, которая до сегодняшнего дня так поражает всякого сколько-нибудь внимательного наблюдателя, волею судьбы перенесенного из России в Париж, центр русской эмиграции, с его «новой тактикой» кучки парижских кадет, и атактичностью, граничащей с полной прострацией, «Национального С'езда». Первые претензии на власть в феврале 1917 г. были естественно заявлены со стороны тех элементов, которые уже в дореволюционное время готовы были настаивать на необходимости ограничения в свою пользу самодержавной власти, и с которыми эта власть готова была играть в политику и даже конституционализм. Русское самодержавие, хотя и по другим основаниям, подобно Великому Московскому княжеству и царству цепко держалось за полноту своей власти, отлично понимая что конституционная поддержка его со стороны изжитой социальной базы не только не укрепит ,но лишь ускорит его падение. Для повторения же смелой попытки Ивана Грозного—перестроить свою власть на новых началах—не находилось на престоле пригодного человека.

Безсилие самодержавной власти найти выход из тупика

социально-экономических условий русской жизни в XIX—отчасти уже в XVIII—и в начале XX века, возникло, главным образом, в результате того, что *поддержка* власти ее социальной базой сменилась полною *зависимостью* власти от *классовых* интересов базы, оказавшихся к тому же в резком противоречии с интересами государства. Этой зависимостью власти об'ясняются неудачи отдельных ее представителей сначала создать условия возможного расширения своей базы, а затем и помочь сложиться самой базе. Я имею в виду проникнутую двойственностью, неискренностью крестьянскую политику самодержавия, с ее потугами на «радикализм», неизменно разбивавшийся об помещичью оппозицию, с ее ставками на выдуманного мужичка и столыпинского хуторянина.

Таким образом, выдвинутое февральским *переворотом* Временное Правительство повисло в воздухе. Связанное в смысле своей социальной базы с отжившими и недостаточными по сравнению с возлагавшимися на Россию задачами элементами руского населения, оно неизбежно должно было быть реакционным, тогда как отдельные его члены, понимавшие необходимость «более широкой базы», реально были бессильны что-бы то ни было сделать, ибо традиция и старые штыки—единственная основа власти, если не считать «уговаривания»—с одной стороны, и отсутствие ясного сознания и организации в крестьянстве—этом неоспоримом фундаменте всякой отныне власти в России—с другой, не могли позволить им порвать начисто с реакцией. Трудность положения и его понимания заключалась именно в том, что *не было вполне готовой, реально ощутимой и сколько-нибудь организованной социальной базы*. Кому же в то время могло прийти в голову, что из отрицательной «войны до победного конца», из проповедников крайнего интернационализма, из людей, призывавших сначала к стопроцентному обложению, а затем и к полному уничтожению буржуазии, что из этих элементов, казалось бы насквозь антигосударственных и анациональных, может сложиться подлинная основа будущей русской глубоко государственной и вполне «национальной» власти. Чтобы угадать в само-демобилизующейся армии и в истрепанном войной городском пролетариате будущего державного властелина русской земли, нужно было: или обладать пророческой прозорливостью, или верить в немедленную осуществимость неосуществимых лозунгов; ведь трудно было предвидеть, что в процессе революции ход истории обяжет и русскую власть и поддерживающие ее национальные силы, хотя бы во имя мировой революции и жажды немедленного

установления абсолютной правды и справедливости на земле, строить в первую очередь русское государство, русскую нацию, и возрождать в России экономическую жизнь.

Но ни пророческой прозорливости, ни жертвенного служения исторически неизбежному у Временного Правительства не было. Всей его психической настроенности была гораздо ближе игра в политику, в которой так называемые «центральные комитеты», «лидеры» и прочая политическая мистика должны были заменять реальные социальные, политические и экономические силы. Членам Временного Правительства всех окрасок и всех составов казалось, что уход из правительства Милюкова, включение в правительство представителей эс-эров, правых и левых или меньшевиков имеют какое-то реальное значение. Все призывали к об'единению «живых сил страны», не замечая, ни того, что зовущие —мертвецы, ни того, что подлинные «живые силы страны» мобилизуются тем временем для устранения со своего пути мертвецов. В сменявшихся правительственных комбинациях, в созывавшихся предпарламентах и московских совещаниях призраки говорили призрачные слова и организовывали либо дезорганизовывали призрачные коалиции, искренно веря, что только «об'единение социалистических элементов с несоциалистическими» или, напротив, их полное обособление спасут положение. А сколько пламенных слов было потрачено на то, чтобы защитить, или отбросить «диктатуру» Керенского, диктатуру, которая, в лучшем случае, могла бы лишь резче подчеркнуть всю призрачность его власти.

Временное Правительство 1917 года mutatis mutandis может быть сопоставлено с эпохой Лжедимитрия I и царя Василия Шуйского. Безсильные реакционные—в историческом смысле этого слова, а не в смысле большего или меньшего либерализма, который в некоторые моменты истории оказывается по-истине реакционным—элементы подготовили почву, как для Лжедимитрия, так и для Временного Правительства, тогда как занятие одним — Московского престола, другим—сначала Таврического, а потом и Зимнего Дворца оказалось возможным только благодаря поддержке «воров». Однако, задачи, стоявшие перед властью в начале XVII века и в наши дни, были неоднородны по существу, хотя формально они и совпадали. Тогда как в XVII веке подлинной основой власти могло стать лишь служилое и тяглое сословия, в XX веке эту базу необходимо было искать в крестьянстве и пролетариате. Затем, в XVII веке между служилым и тяглым сословиями не существовало, в виду возможности примирить их экономические интересы, принци-

ниального расхождения, тогда как в XX веке интересы крестьянства и пролетариата законно могли казаться противоположными, и реально и принципиально. Далее, в XVII веке служилые и тяглые люди, благодаря своему культурному уровню и экономическим возможностям, были в состоянии выдвинуть вождей из своей среды и сравнительно легко осознать свое место в государстве; между тем, крестьянство и пролетариат в XX веке нуждались в вождях со стороны, чтобы осуществить свои чаяния и в процессе революции проверить степень приемлемости тех или иных лозунгов, которые выдвигались партиями, претендовавшими на роль руководителей русской жизни. Наконец в XVII веке будущий руководящий класс был достаточно подготовлен еще в прежнее время к делу государственного строительства, тогда как в XX веке между будущим хозяином русской земли и теми элементами, которые ему суждено было устранить со своего пути, лежала пропасть. Словом, все как будто говорило за то, чтобы «народные массы» XX века были устранены от государственного строительства, чтобы культурная и либеральная власть приняла на себя заботы о постепенном, путем закономерных реформ, поднятии культурного уровня крестьянства и, только совершенно перевоспитав его, передала ему власть. Но именно в неустранимости крестьянства и пролетариата лежит глубочайшее различие между современной Революцией и прошлой Смутой. «Вор XX века», а на деле подлинный строитель русского будущего, не пожелал устраниться и тем разбил в черепки идиллические постройки политических Маниловых, мечтавших о внеклассовой, т. е. висящей в воздухе власти, или о лже-классовой власти, т. е. желающей опираться на класс, но говорящей на чуждом этому классу правовом и экономическом языке; а заодно он же, так называемый вор и хам, убил всякую возможность реакционной власти, в об'ятия которой неудержимо стремились бы; как висящие в воздухе Маниловы, так и говорившие по ученому эс-еры и умеренные социалисты, — убил, ибо сам того не замечая, из «вора» превратился в мощного хозяина своей земли, научившегося на опыте отстаивать ее от своих внутренних и внешних врагов и понявшего свое место в государстве, которого отныне никому, будь-то сам Русский Совет в Константинополе, или Учредительное Собрание в Париже, или комитет партии социалистов-революционеров в Праге, или еще что-нибудь в Берлине, не отдаст.

Обвинять Временное Правительство в том, что оно не сумело понять, создавшегося вследствие отсутствия ясной

и одинаково для всех приемлемой социальной базы, положения не приходится. От людей нельзя требовать пророческого прозрения, вступить же на другой, указанный выше, путь, — поверить в возможность немедленного установления рабоче-крестьянской власти — ни один из членов Правительства органически не мог. К тому же, установление этой власти неизбежно предполагало такое временное погружение в мрак безправия, крови и разрушения материальных и культурных ценностей, что пойти по этому пути могли лишь железные люди, твердо верящие не только в установление временной рабоче-крестьянской власти, но и в осуществление подлинного счастья всего человечества, по самой своей «профессии» революционеры, не боящиеся вызвать к жизни всепожирающий бунтарский дух, люди, для которых их цель — пересоздание всего человечества, — действительно, а не на словах только, оправдывает все средства.

Но, быть может, все-таки были правы те члены Временного Правительства и поддерживавшие их группы, которые надеялись, что временно власть в состоянии удержаться «на доверии», что «массы» подождут с выполнением своих требований, и что, наконец, с'ехавшееся Учредительное Собрание сумеет основать Власть Всероссийскую, покоящуюся на авторитете всеобщего, равного, тайного и прямого голосования. Позорный провал Учредительного Собрания, реальный и моральный, должен был, казалось, открыть глаза даже самым неисправимым мечтателям-оптимистам на подлинный лик революции и ее власти. И если тогда в момент крушения иллюзий, неумение оценить события во всей их мощной значительности было понятно, то совершенно непростительно нежелание — иначе этого назвать нельзя — об'ективно осознать политический, социальный и экономический смысл исторического процесса, приведшего к этому крушению, теперь, через три с половиною года после октябрьской революции.

Повторяю, в 1917 году реально-ощутимой социальной базы для утверждения на ней власти, которая сумела бы провести в жизнь чаяния русского народа и отстоять их от неизбежных нападений извне и изнутри, *не было*. Материалом для нее должны были послужить крестьянство и пролетариат, ибо мировая война показала, что только привлечение к государственной работе этого бесспорного большинства русского народа может обеспечить национальное существование России. Будь крестьянство в момент революции сознательным, организованным и активным социальным

элементом — построение чисто-крестьянской власти оказалось бы делом возможным, даже сравнительно легким. Однако, самодержавие позаботилось, чтобы это было не так.

Социально-экономическое и культурное состояние русского крестьянства в 1917 году допускало теоретически два пути построения на нем, как на своей базе, власти: первый, не выдержавший исторической проверки, путь может быть кратко формулирован следующим образом: сначала успокоение, потом реформы, и в результате — крестьянская Россия и ее власть. Этот путь предполагал бы «благожелательную» буржуазную, правовую и «культурную» власть, искренно стремящуюся осуществить «законные требования народа»; затем, не менее «искренний» отказ помещиков от своего привиллегированного социального и экономического положения и, наконец, сентиментальное доверие русского мужичка к трогательным обещаниям его векового классового врага. Всем этим я отнюдь не хочу сказать, что не верю в искренность отдельных представителей русской интеллигенции, охотно соглашавшихся наделить крестьян землей и привлечь их к делу государственного строительства. Думаю, однако, что история белых движений с достаточною наглядностью показала все безсилие русской интеллигенции в проведении ею своих точек зрения при ее работе в союзе, а следовательно, в военной и экономической зависимости от земельной и промышленной буржуазии. Первый путь неизбежно, таким образом, приводил к социальной, а за нею и политической реставрации; другими словами, это был путь контр-революционный и, поскольку революция 1917 года была исторически неизбежна, неосуществимый.

Оставался второй путь, который в противоположность первому можно было бы охарактеризовать словами: сначала реформы, потом успокоение. Но что понимать под «реформами»? Вот тот роковой вопрос, при ответе на который практическом и теоретическом провалились все без исключения правительственные партии, начиная с партии Народной Свободы и кончая полу-левыми социал-революционерами и меньшевиками. Все они, в большей или меньшей мере, рассуждали примерно следующим образом: реформы необходимы, но они не должны ослаблять экономической, финансовой и военной мощи страны, и разрушать, хоть и чуждые большинству народа, культурные и правовые ценности. Вот в этой осторожности политических деятелей первой половины 1917 года и была их величайшая, непростительная ошибка, их преступление перед Революцией, а следовательно перед Россией. Эти люди не понимали, что со-

циальное, экономическое и политическое пересоздание России предполагает выход на поверхность государственной жизни тех социальных элементов, которые в отношении своих культурно-правовых и государственных представлений живут в далеком, отнюдь не прекрасном, прошлом, что эти элементы могут выполнить выпавшую на их долю роль социальной базы лишь при условии, что им будут понятны и близки, как далекие цели и идеалы власти, так и ближайшие, конкретные ее задачи. Скажу прямо: в условиях русской жизни 1917 года, при отсутствии вполне четко сложившейся и организованно построенной социальной базы государственной власти, заменить такую базу могли только «массы», сознательно сплоченные *демагогическими* лозунгами: не определенный класс, а именно «массы». Захват этими «массами» в октябре 1917 года власти и знаменует собою подлинную Революцию. С этого момента уже стали возможны реформы, то есть эволюция власти и поддерживающих ее новых социальных слоев. Однако, колесо истории не возвращает новых людей на абсолютно прежнюю точку развития, ибо с каждым новым социальным элементом в мир приходят и новые экономические и идеологические формы.

Выше я сказал: не определенный класс, а «массы». Каков же неизбежно был социальный характер тех «масс», которые могли и должны были быть использованы в 1917 году для построения власти? Ответ на этот вопрос отчасти уже дан: это прежде всего крестьянство и его организованный выразитель — старая армия. Был ли, однако, этот элемент — я говорю пока об армии — достаточен? Уверен, что нет. Опираясь на деморализованную ,жадно стремящуюся разойтись по домам, безконечно усталую, сознательно не доверяющую начальникам, проникнутую ненавистью к государству, как причине мучительной войны, солдатскую массу, в лучшем случае можно было захватить власть, подчинившись ее анархическим лозунгам и, прежде всего, предоставив ей демобилизоваться, т. е. самоупраздниться в качестве опоры власти. Характерно, что все попытки Временного Правительства реформировать царскую армию не приводили ни к чему: армия ждала не реформ, а демобилизации. Эта армия могла быть только распущена, после чего на совершенно уже иных началах и во имя иных целей могла быть организована новая армия, подлинная охранительница Революции и России, нового «социалистического» отечества. Что касается рассыпанной по деревням крестьянской массы, то и она могла сыграть роль, прежде всего, в самый момент Революции и в течении ближайшего време-

ии, конечно, при условии, что революционная власть выбросит лозунги, хотя бы и более широкие, чем какие были нужны крестьянству, но в которые с легкостью могли бы уложиться конкретные его чаяния. Однако, в дальнейшем опорой власти крестьянство могло бы служить лишь при двух условиях: во-первых, при условии образования новой питаемой крестьянскими элементами, армии — но создание такой армии требует времени — и, во-вторых, при условии скорее пассивной поддержки со стороны сидящего по домам крестьянства, организовавшего в местную власть — но на одном пассивном сочувствии и новая власть в борьбе с отжившими элементами держаться не может; к тому же организация местной власти требует столько же, если не больше, времени, как и создание армии.

Все сказанное о крестьянстве показывает, почему участие в создании революционной власти однородной крестьянской массы было недостаточно и почему необходимо было привлечь к этому делу еще и другой элемент — городской, психологическая близость которого к крестьянству, с одной стороны, и далеко не такая сильная, как на Западе, экономическая его выделенность и противоположность крестьянству, с другой, делали союз этого последнего с городским пролетариатом естественным, а исторические условия — необходимым.

Пострадавший во время войны пролетариат к 1917 г. представлял собою не столько класс с ясным классовым сознанием, сколько революционные, до красна накаленные массы, использование которых в деле построения революционной власти было возможно лишь при такой правительственной программе, которая своими широкими обещаниями давала бы немедленное удовлетворение материальным запросам рабочих, а своими лозунгами мирового братства, правды и справедливости в наглядно понятных для рабочего формах возвышала бы его до творца будущего счастья человечества и тем самым оправдывала бы перед ним самим кипевшую в нем ненависть к буржуазии.

Нет надобности долго останавливаться на причинах, делавших городские пролетарские массы не только пригодными для установления революционной власти в октябре 1917 года, но и достаточно сильными для того, чтобы обеспечить раз сорганизовавшейся власти прочное положение. Самый факт длительного существования Советской власти показывает с достаточною наглядностью, а для непотерявших окончательно историческое чутье, и убедительностью, что выбор социальной базы для революционной власти в

октябре 1917 года был значительно более удачен, чем все попытки ее нахождения, делавшиеся с февраля по октябрь того же года. Правда, внутренние противоречия между деревней и городом на протяжении последних лет нередко ставили Советскую власть в очень трудные положения; но это же заставило власть быть значительно более гибкой и способной к тактической эволюции и принудило ее озаботиться охраной города с его интеллектуальной и художественной культурой.

Анализ русской жизни, как она сложилась к революции 1917 года, показывает, что создание революционной власти было в то время возможно при соблюдении следующих условий:

1. Носителем власти могло быть лишь правительство. образованное из экстремистских—прежде всего в психологическом и тактическом отношениях—элементов.

2. Двигателями революции были, а следовательно социальной базой для вышедшей из революции власти могли быть, лишь сельские (крестьянские) и городские (пролетарские) *массы*, а не один какой-нибудь класс.

Нетрудно, видеть, что оба поставленные условия были осуществлены большевиками при создании ими в октябре 1917 года рабоче-крестьянской власти. Однако, одними обстоятельствами русской жизни нельзя еще об'яснить исторической необходимости прихода к власти именно крайней социалистической, вскоре переименовавшей себя в коммунистическую, партии. Об'яснение тому, что в России у власти оказались именно коммунисты, а не новый Тушинский вор, Стенька Разин или Пугачев, надо искать в общих условиях мировой жизни, в экономической, социальной и культурной обстановке, сложившейся во всем мире к началу XX столетия.

В оценку этой обстановки я входить здесь не буду. Скажу лишь, что современный экстремизм с подлинно-революционными пафосом и волей неизбежно выливается в формы социалистической, resp. коммунистической идеологии. Не случайность, таким образом, что и русский экстремизм, носящий, конечно, и специфически русские национальные черты, выдвинул коммунистические идеалы.

Основным условием для того, чтобы любая революция дала в итоге благоприятные для национального прогресса результаты, является построение в ходе революционного процесса прочной социальной базы будущей государственности и олицетворяющей ее власти. Только при условии органической связности господствующих — в смысле их со-

ответствия политическим и экономическим задачам данного исторического периода в жизни народа—элементов населения с властью можно спокойно взирать на неизбежные временные неудачи и колебания революционной власти. Наличность подобной связи, с одной стороны, и исторически реальная прочность самой базы, с другой, могут гарантировать революцию от всяких попыток реставрации, с какою бы настойчивостью они не проводились.

Удалась-ли эта задача Советской власти?

«Массы», выдвинувшие в лице Народных Комиссаров своих, по выражению Луначарского, прикащиков, не могли без дальних слов служить базой новой России. Увлекавшие эти массы лозунги немедленного воплощения социальной правды на земле установили прочное сотрудничество «масс» с новой властью. Срок этого сотрудничества оказался достаточным для того, чтобы Советская власть успела не только овладеть положением и реорганизовать аппарат управления, но и создать себе прекрасную опору в лице сильной Красной армии. Чрезвычайные трудности, с которыми приходилось бороться Советской власти, как в области экономической разрухи, так и в чисто-политической сфере, усугублялись тем, что нередко в самой своей базе власть встречала глубокое непонимание своих мероприятий: вместо сознательной поддержки своего правительства крестьяне и рабочие ставили его иногда в исключительно затруднительные положения. Только потрясавшие народную душу неожиданности, связанные с появлением «белых» властей, превращали, в огромном большинстве случаев, инстинктивное сочувствие к Советской власти со стороны масс в сознательную и активную поддержку ее. При этих условиях оказывалась необходимой суровая диктатура, о которой мечтали и при Временном Правительстве, но которую установить оказались в силах лишь большевики.

Так называемая диктатура пролетариата и насилие, принявшее в определенный момент исторического процесса неизбежный, но от того не менее ужасный характер террора, необходимые в период сложения и организации новой базы государственной жизни и власти, неизбежно видоизменяются по мере ее т. е. базы, укрепления, многочисленные данные указывают на то, что за последнее время в этом отношении в России происходит значительная эволюция.

Параллельно с этим наметился и другой характерный в том же смысле процесс: постепенный отказ масс от немедленного осуществления прекрасных, но, увы, непосильных идеалов. То и другое, доказывая образование, на худой

конец, лишь психологических предпосылок, обезпечивающих в близком будущем сложение реальной базы русской государственности, неизбежно отражается не на идеологии, конечно, а на тактике Советской власти, вынужденной считаться, чем дальше, тем больше, с реальным заявлением складывающихся в России новых социальных и экономических отношений. Указания Ленина на «фантазерство» тех, кто до сих пор говорит о немедленном коммунизме, изменения в области экономической, (в частности земельной) политики Советской власти, отклонения от первоначальной линии поведения в вопросах рабочей политики и судебной практики и многое другое,—словом ,так называемая, «эволюция большевиков», столь раздражающая их противников из квази-ортодоксального социалистического лагеря, об'ясняется просто тем, что аналогичная эволюция происходит в массах по мере превращения их в подлинную социальную базу революционно-эволюционной власти. Наконец, успехи Красной армии в борьбе с белым движением равным образом были бы необ'яснимы, если бы мы попытались доказывать, что крестьянство в массе не предпочитает *свою* власть Советов власти «контр-революционной», возглавляемой генералами, руководимой так называемыми либеральными, а иногда и «социалистическими» интеллигентскими кругами, и опирающейся—и в этом корень зла—на отжившие элементы старой социальной базы.

Все приведенные соображения позволяют утверждать, что, по крайней мере, в области народной психологии достигнуты положительные, с точки зрения закрепления революционных завоеваний, результаты, и что, в то же время, между властью и поддерживающими ее элементами населения установлено живое взаимодействие, естественно, временами нарушаемое, иногда по вине власти, в случае ее тактических или идеологических ошибок, иногда по вине населения, в случае недостаточного понимания им стоящих перед ним и властью обще-государственных задач.

Не убоявшись «вора XX столетия», неуклонно стремясь вызвать его к самодеятельности, Советская власть постепенно, путем вовлечения крестьянства в дело государственного управления и строительства, преображает «вора» в распорядителя судьбами России. Не ее вина, что при этом процессе нередко психология его лишь с трудом поддается этатизации, но уже и достигнутые в этом отношении за три с половиною года результаты прямо ошеломляют. Начав с решительного отрицания государства, пролетариат и крестьянство уже теперь отлично сознают, что в современных

условиях, как государство, так и государственная власть необходимы, и к тому же непосредственно связаны в своей жизни с жизнью каждого в отдельности гражданина. Воистину, мы сами того не замечая, присутствием при рождении подлинного русского гражданства и неразрывно связанного с ним Русского Государства. Начав с ни к чему не обязывающих, хотя, как потом выяснилось, давших положительные всходы в деле отстаивания русских национальных интересов в международных отношениях, интернационалистических, плохо к тому же понимаемых лозунгов, рабочие и крестьяне не только убедились на опыте в экономической необходимости единства России, не только нашли экономическую базу для расширенного до обще-русских пределов патриотизма в отстаивании прежде всего своих революционных завоеваний, своей власти и своего «социалистического отечества», но и прониклись национальным сознанием высокого русского подвига, несущего, хотелось бы верить, освобождение угнетенным всего мира. Начав с признания в области экономических отношений одного только момента распределения, рабочие путем длительного опыта убедились в решающем значении для поднятия общего благополучия момента созидания ценностей. Начав, наконец, с исторически оправдываемого непонимания и потому отрицания интеллигенции и, прежде всего, буржуазии в деле экономического, государственного и культурного строительства, пролетариат понял, что, как интеллигенция, так и буржуазия не только не страшны для народа-победителя, но и должны быть и могут быть использованы в интересах самого народа.

Колоссальный рост государственного, национального, экономического и социального сознания народных масс в России за время революции—вот то неоспоримое и безконечно ценное, что уже дала нам Великая Русская Революция, построяя в мучительном процессе своего творчества мощную социальную базу Новой России.

«Все это, может быть, и так — возразят мне —но не слишком ли дорогою ценою куплено будущее, к тому же еще проблематическое, благо России»? Охотнее всего в ответ на подобное утверждение я бы указал, что история, к несчастью, не знает ни слишком дорогих, ни слишком дешевых цен; точно так-же, как в отношении к ней безсодержателен вопрос: могло ли быть иначе? Что же касается Русской Революции, то она неизбежно должна была принять экстремистский характер, который, в свою очередь, с такою же необходимостью должен был найти свое возглавление в

лице русского большевизма. Русская Революция не могла не сопровождаться огромными жертвами, как в людях, так и в культурных ценностях. Не будь социалистов-большевиков, русская революционная стихия вызвала бы к жизни нечто гораздо более страшное, страшное не убийствами и грабежом, а страшное прежде всего тем, что грозило бы вырождением революции в анархию и бунт, с их неизбежным заключением—реставрацией-смертью.

Вот почему, как бы проблематичны ни казались кому-нибудь положительные результаты Русской Революции, как бы ни были велики жертвы русского народа, именно во имя этих великих жертв и того, чтобы они не оказались напрасными, а положительные их результаты — потопленными в анархии, во имя пролитой русской крови — необходимо без предвзятости, с возможным хладнокровием вдуматься в великие русские события и честно протянуть руку помощи Родине, вынужденной историческими условиями искать своего спасения и возрождения такими путями, которые могут и не быть по душе целым категориям ее граждан.

С. Лукьянов.

НОВАЯ ВЕРА.

I.

Третьей революции не будет.

Вот та «низкая истина», которою следует проникнуться вместо тьмы «возвышающих обманов», на которых отводит свою наболевшую душу русская эмиграция. — «Не надо разбивать веру хоть в чудо. Пусть люди отдыхают хоть на иллюзиях». Таково мнение, которое слишком часто приходится нынче слышать от тех, у кого довольно хорошие глаза, чтобы оценить положение, но слишком мягкое сердце, чтобы продающему газеты полковнику, служащему в швейцарах князю и бесчисленным просто голодным, безработным сказать: «Гражданская война проиграна окончательно. Россия давно идет своим, не нашим путем. Кризис кончился. Положение определилось. Или признайте эту, ненавистную вам Россию, или оставайтесь без России, потому что «третьей России» по вашим рецептам нет и не будет».

Вместо этого — покачтоки, по выражению Тэффи: все живут «пока что», перемогаясь, стараясь дотянуть до возвращения в эту третью Россию. Советская власть в агонии доживает последние дни. Как известно, после октябрьской революции, наши дипломаты уверяли Антанту, что большевики слетят через неделю. То-же упорно повторяется четыре года в «Общем Деле», с резкою бранью: «евнухи», «предатели», «малодушные» по адресу всех, дерзавших быть более проницательными; все эти эпитеты были расточаемы говорившим, что Крым не сможет держаться против всей России, как только кончится русско-польская война. Прошел год с тех пор — и Советская власть все в «агонии» и даже классическая «неделя» все на лицо: Алексинский в речи, Бурцев в статье, в июне вновь повторяли: падение Со-

ветской власти произойдет через несколько недель. Где-же осуществление этих пророчеств? Не пора-ли сказать себе, что долг реального политика принимать факт, как-бы он ни был неприятен, что надо, попросту, уметь смотреть правде в глаза? Страусова политика, или реальная политика?

Если страусова, продолжайте отдыхать на иллюзиях. Замените «недели» «Общего Дела» меланхолическим «Мы не ставим сроков» «Последних Новостей» и повторяйте за дамами, продающими последнюю брошку: — «Не может-же быть, что-бы это продолжалось еще долго». Тогда естественны эти странные учреждения, переполняющие все столицы: Русское посольство, русская миссия, даже управление военного агента! Совет частных железных дорог в России. Торговый агент Южнорусского правительства. Союзы: инженеров, присяжных поверенных и бесчисленные другие. Есть учреждения Временного Правительства, есть Украинские, есть Врангелевские, есть Грузинские и Азербейджанские, есть агенты разных министерств, есть управления всевозможных частных учреждений, — когда на свете нет давно ни этих учреждений, ни этих министерств, ни этих правительств. Как геолог в окаменелом слое отыскивает следы формаций различных эпох, так по спискам этих учреждений можно восстановить разные периоды многострадальной России. Периоды отошли в историю, а учреждения и должностные лица живут, часто благоденствуют. Загробная жизнь в которой нет ничего спиритического. Небывалый в истории хронический анахронизм. Всем известно, что это фикция, что генералы, присяжные поверенные, послы могут носить свои звания лишь как реликвии так, как в пику большевикам подписался один в бумаге на их имя: «Урожденный генерал-майор такой-то». Все это было. Всего этого больше нет. «В карете прошлого далеко не уедешь». Пусть каждое напоминание о действительности вызывает крики гнева и боли, оно необходимо из простой человечности: ведь сколько тяжелых драм кроется под этим питанием иллюзиями; не имея иллюзий, многие устроили-бы иначе свою частную жизнь, а некоторые пересмотрели-бы и свою идеологию. Но все, как грешник Додэ, попавший в ад, считают происходящее за страшный сон, который скоро пройдет. — «Он еще в периоде сна», говорят жалеющие его другие страдальцы. «Все мы прошли через этот период. Но когда он увидит, что его сон длится века и тысячелетия, он, наконец, поймет, что это действительность».

Если же на смену страусовой политики должна придти реальная, то надо понять, что жизнь жестоко, насильственно откроет еще жмурящиеся перед нею робкие глаза. Пока

эмиграция гадает, скоро-ли погибнет Советская власть, Советская власть может рассчитать довольно точно, скоро-ли погибнет эмиграция. Вырванные с корнем из родной земли растения не могут не засохнуть. Некоторым отдельным исключениям пересадка удастся ценою утраты всякой связи с Россиею, но большинство — без пересадки, корнями вверх. Вся такая эмиграция погибнет в несколько лет, если не воссоединится с родиною. Это — неумолимый закон жизни. Вот почему надо-же себе отдать отчет, на чем основаны мечты о крушении Советской власти, о восстановлении …кой России, в которую эмигрант соизволит вернуться. Прежде тут были реальные возможности: интервенция, белая армия. Они отпали. Не может быть надежды на интервенцию после определившейся позиции рабочих и солдат любой страны — после Одесского возмущения французских солдат, отказа рабочих грузить снаряды для Врангеля и для поляков, позиции английской рабочей партии и т. д. Вообще всякий разговор об интервенции теперь настолько-же нереален, относится к области очевидной фантазии, как и разговор о русской армии. Национальный С'езд здесь занимался самогипнозом, как будто от громких аплодисментов и фраз несуществующее может опять стать существующим.

Нельзя без глубокой скорби и негодования вспомнить о сотнях тысяч бесполезных кровавых жертв, которых стоила Крымская гальванизация белого фронта, убитого при Деникине. Но теперь восклицать о восстановлении как военной силы этих несчастных, оборванных, обезоруженных, голодных и холодных людей значит издеваться над ними своими овациями из Парижского приволья, когда они делают себе в землянках печи из квадратных, а трубы из круглых консервных коробок. С глубоким уважением к крестному пути русской армии, разделившейся роковым образом на армию Врангеля и армию Брусилова, на два лагеря, в междуусобице истреблявших друг друга русских людей — пройдем мимо, с жаждою дожить до светлого часа их примирения. Здесь уже не драма — здесь одна из величайших трагедий истории. Брат на брата — неизбывная взаимная ненависть и проклятия. И там и здесь неисчислимые подвиги русского солдата и офицера, и там и здесь неисчислимые геройские смерти — и, увы! неисчислимые преступления. Оба лагеря видят только свой подвиг и только преступление врага. Оба пришли бы в крайний гнев, как от высшего оскорбления, от самой мысли о проведенном между ними знаке равенства, о том, что они такие же русские люди в своей вражде, с великою доблестью, с великою бездною. Такова черная злоба гражданской войны,

всегда более беспощадной, злобной, мучительской, извращенной, чем война между разными племенами.

Но теперь — она кончена.

Она кончена, потому что невозможна интервенция и потому что белой армии больше не существует. Пока есть лотерейный билет, можно надеяться выиграть. Нет билета—нет и надежды на выигрыш. Мы тщетно бы искали во всяких статьях и речах ответа на вопрос: какою механическою силою может быть свергнута Советская власть, по мнению ее противников. В возражении проф. Устрялову, Пасманик совершенно обошел указания Устрялова на отсутствие какой-бы то ни было реальной концепции ее свержения. Действительно, на это ответить невозможно. Поможет Николай Чудотворец. Советская власть падет «авось, небось и как-нибудь», падет, как Иерихонские стены от публицистических труб и воплей. Как-нибудь?—«Мы рады верить, мы жаждем верить, хотя бы даже и на честь». «Когда нам скажут, что хотим, куда как вернется охотно». Так ответит эмиграция. Хорошо. Но все-таки приходится «наступать тяжелыми подошвами на крылышки мечты». Без интервенции и без армии — как-же? Внутренний взрыв? Деревня.

Деревня против города. Ведь еще граф Витте в законе о выборах в первую Думу делал ставку на консервативность русского мужичка. Очень характерно в этом отношении было выступление на Национальном с'езде «представителя Всероссийского Крестьянского Союза». Крестьяне послали через оратора приветствие Врангелю. Крестьяне не грабители. Они всегда выражали желание за землю платить. Крестьяне желают, чтобы земля была им дана законным порядком. Словом, мужичек стилизованный, как на бывых приемах в Царском Селе, кроткий, на все согласный. В полной гармонии с таким мужичком резолюции Торгово-Промышленного и Национального С'ездов. «Владельцы, уступившие свои земли, должны быть вознаграждены государством». Государственные деньги получаются налогами, значит, опять — заплатит крестьянин, опять повесть о том, как щедринский мужик двух генералов прокормил. Разве надо даже доказывать, что здесь мужичек — из потемкинских деревень? Настоящая деревня была открыта не «Антоном Горемыкою», а страшным Родионовским «Наше преступление». Она открылась на мгновение при Пугачеве, как откровением в грозе и буре на миг открываются бездонные хляби океана — и потом опять можно было писать даже «Бедную Лизу». Проклинайте эту подлинную деревню, как исчадие тьмы, или смотрите на нее как на будущую твор-

ческую силу, но оплота для переворота в пользу парламентаризма и демократии в ней нельзя никак усмотреть. Во первых, деревня выиграла от советского строя — уже потому, что ей нечего было проигрывать. Ее благосостояние увеличилось. Увеличилось — и притом в неожиданной, очень большой степени — ее развитие. Шла своим ходом русская история, а крестьянин в ней никакого участия не принимал: это была, как в древности, история богов, царей и героев, а он оставался в своей избе, неизменной со времен Гостомысла, не сделав с тех пор шагу в своем развитии. То, что он вовлечен теперь в государственную борьбу, должен отдавать себе отчет в происходящем вокруг и, главное, то, что в нем так нуждаются, разумеется, сильно двинуло вперед его развитие. Он сошел, наконец, с мертвой точки и теперь пойдет по открывшемуся перед ним пути.

Во вторых, дан именно в этой области незабываемый предметный урок — от Скоропадского до Деникина. Инстинктов не сдержишь... хоть-бы подождали до Москвы. Но помещики кинулись на свои пепелища. Все, что писалось в советской печати, о классовых интересах помещиков, сановников, дворян, генералов, реакционеров получило, с этими необузданными аппетитами, яркое предметное доказательство. Фактов напоминать не стоит — они у всех в памяти: «конец белой мечты». И, ничего не забыв, ничему не научившись, Национальный с'езд шумно аплодировал заявлениям своих ораторов, что будущая власть вовсе не собирается делать народу приятное и обещаниям карательных экспедиций деревне, которая несомненно «ощетинится». Поэтому в третьих: сами правящие классы закалили русский народ. Они ему ничего не дали — он даже из крепостного состояния был освобожден без земли. Сумели все завоевания культуры провести так, чтобы русская деревня ими не воспользовалась. Деревня не знала ни наук, ни искусств — даже грамоты. Государственный Совет отклонил кредиты на народное просвещение даже третьей Думы. Деревню искусственно держали в темноте, считая что так вернее для ее преданности царю и отечеству. Много-ли ей давали даже железные дороги и тому подобные технические изобретения? Много-ли ей давал город с его торговлею и промышленностью? Так этой-ли изнуренной деревне в диковинку лишения? Она-ли подымется оттого, что железнодорожный транспорт производится медленнее и в нем нет классных вагонов? Или после карательных экспедиций при Романовых, при Скоропадском, при Деникине ее подвинут на возмущение советские реквизи-

ции? Как Митридат был закален против всяких ядов, так деревня приняла от бывших правящих классов слишком большие дозы всякого насилия, голода, темноты. Никакою разрухою, никаким отсутствием культуры ее не испугаешь. Непривиллегированные классы России, в деревне и в городе, веками приучены быть неприхотливыми. Поэтому, с ними теперь бита всякая ставка и на экономическую разруху, и на отсутствие гражданских свобод. Итак — ни интервенция, ни русская несуществующая армия, ни взрыв изнутри, или экономическая разруха.

И все-же у, повидимому, одетой таким образом в несокрушимую броню, Советской власти есть Ахиллесова пята. Кто хочет, — может за это ухватиться и, торжествуя, цитировать. Эта Ахиллесова пята — анархия. Это Кронштадт, это — царь Махно. Жаль одного: они не правее, а левее большевиков. Это—сила не центростремительная, а центробежная, не на воздух, к солнцу, а — глубже в землю. От этого распада, напрягая все усилия, спасает Россию Советская власть и прав Уэльс, говоря, что уничтожить ее значит перебить России позвоночный хребет. Это не нравится? Большевизм обвиняется в том, что он внес анархию? Не будем ни спорить, ни соглашаться: право, важно будущее, а не прошедшее. Но часто ведь вынуть из раны попавший ее дротик значило открыть рану, заставить истечь кровью раненого воина. Причинивший рану дротик затыкал ее. Те, кому ненавистен большевизм, должны-бы еще более ненавидеть анархию. Но исконный грех политиков: если берет верх противная им партия, они обрадуются, увидев свою родину, пораженною моровою язвою. Чем хуже, тем лучше. Правые круги эмиграции в своем безответственном заграничном положении переняли все худшие лозунги эс-эров, совсем не заботясь о том, может-ли русский народ смотреть как на своих друзей на тех, кто всячески старался препятствовать доступу к нему лекарства, платья, обуви, земледельческих машин, всего для него нужного. Припоминаю один процесс в Ростове. Военный суд судил советского служащего. Ряд свидетелей показывал, что это был прекрасный, принесший много пользы на своем посту человек. «Тем хуже»! воскликнул военный прокурор: «В этом-то и состоит его вина! Этим он укреплял Советскую власть, поддерживал к ней уважение. Своею деятельностью он поддерживал порядок, поддерживал в населении покой вместо недовольства советским строем, разрухи и хаоса. За это он должен быть строго наказан»!

При анархии получился-бы этот любезный сердцу многих хаос. Что-ж такое, затмение—потом проглянет солнце.

Правда, затмени безкровно, а желающим такого затмения пришлось-бы повторить слова Наполеона: — «Что значит для такого человека, как я, миллион жизней», да еще выплыть из этого океана крови, хоть Наполеонов что-то нет, а мирмидонцы, стремящиеся поднять меч Ахилла только одерживают победы друг над другом. Поехал Гучков в Женеву — Милюков, торжествуя, трубит, что его «парализовал». Русская грызня: кто-бы ни попробовал что-нибудь сделать на пепелище после большевиков, другие непременно его парализуют. Никого нет, кто-бы был в состоянии взять в свои руки после большевиков тяжкий меч власти. Во всяком случае надо твердо помнить одно: за эти три года одни монархисты сумели организовать против Советской власти вооруженное сопротивление. Что-же скрывать шило в мешке, белые армии, состоявшие почти сплошь из офицеров, были, конечно, монархистическими. Тогда вставала дилемма: красный Кремль, или Кремль с колокольным звоном царей московских. Народ предпочел первое. Но, во время Деникинской катастрофы, какой-то мелкий репортер, не имея темы, пустил в свою статейку миф, что Махно монархист — он за крестьянского царя. Какой получился изумительный успех! Махно оказался кумиром изящных дам, коммерсантов, генералов и либералов: теперь-то большевики уж наверное скоро слетят — видите, крестьяне за монархию. Все поверили, что Врангель и Махно в союзе спасут Россию. А чем был Махно со своею заставою Соловья разбойника, со своими безобразными дикими всадниками, с сокровищами, зарытыми у Гуляй Поля, с ответом Екатеринославским почтово-телеграфным чиновникам: «Почты нам не треба» и с, вероятно, апокрифическим, но так радостно передаваемым нежными дамскими устами ответом на просьбу о хлебном поезде для голодающего Петрограда. «За поезд хлеба — вагон жидов»? Махно был анархическою отрыжкою векового крестьянского гнета, был стихийным многоголовым царем-зверем, который один, безымянный и безликий, мог бы придти на смену Советской власти, если бы она не вздернула, как медный всадник, Россию перед бездною на дыбы. Вся Россия была бы отброшена к доисторическому периоду, к безвластию, к грабежу кочующих шаек. Или нельзя даже учесть, до чего бы дошла реакция. Венгрия тому слабый пример. Нельзя представить себе, при самой горячечной фантазии, этих картин злобы и мести. Кроткими сестрами милосердия, сравнительно, с такою действительностью, казались бы дамы, некогда раскрывавшие свои кружевные зонтики в ранах поверженных коммунаров.

Махно был родным братом Кронштадтским матросам. Вот еще одна, к великому счастью для России, подавленная анархическая попытка увлечь ее в бездну .И с красной стыда приходится вспоминать, как приветствовали из Парижа тех, кого вчера с ужасом проклинали, как убийц тысяч морских офицеров и Кокошкина и Шингарева. Со стороны большевиков понятно, что, делая свой прорыв к власти, они оперлись на эту, грозно разнуздавшуюся в революционном порыве, дошедшую до крайней жестокости и преступности силу, но и они терпели эту разнузданность лишь поневоле, лишь пока на первых порах были слабою властью. Убийство Кокошкина и Шингарева привело Ленина в ужас, вызвало его гласный протест, а сделать тогда ничего нельзя было: не было сил, слишком бушевал хаос только что совершившейся революции. Однако, как только волны улеглись, большевики не стали потакать ничьей разнузданности — на всех нашлась крепкая узда, и на анархические стремления и на чисто уголовные убийства и налеты: известно, что охрана безопасности граждан от уголовных преступлений поставлена в Советской России на должную высоту. При Временном Правительстве и в первые месяцы существования Советской власти налеты и грабежи были повсеместным бичом, теперь преступникам трудно, репрессии против них беспощадны. Естественно, что обуздание анархии не нравится разнузданным элементам. Не может матросам нравиться, что из красы и гордости революции, они стали ее солдатами, подчиненными суровому порядку. Отсюда их восстание против большевиков в тот период, когда те вводят порядок, так же понятное, как их союз с большевиками в тот период, когда те, создавая революцию, создавали беспорядок. Но если понятно таким образом отношение большевиков к матросам, то совершенно непонятно, как на столбцах парижских газет эта «темная сила», эта «матросня» превратилась в доблестную армию ,в борцов за свободу, когда восстала против Советской власти, дала воду на остановившиеся парижские мельницы. Что за неразборчивость в средствах: иностранцы, расхищающие Россию, так иностранцы, Махно, так Махно, матросы, так матросы— так и протянулись руки для пожатия рук, обагренных в крови тысяч жертв из того же белого лагеря! Что красные не смущались кровью белых — естественно, но сравнительно с Парижскою позицией белых, забывших про кровь своих соратников, куда была естественнее Сербская позиция монархистов, говоривших: «С такими восстаниями нам не по пути». Они понимали, что, при малейшем шансе на успех белых или розовых, те-же матросы грудью-бы встали

за Советскую власть, лишь бы не пустить общего врага в Россию. И какая поразительная самоуверенность у приветствующих анархию, которая-бы свергла большевиков. Мы-то уж справимся с анархией, даже такою, которая сильнее Советской власти... Мы все поправим — даже при взаимной грызне, при уже доказанном бессилии и бездарности.

В действительности же Советская власть, при всех ее дефектах — максимум власти ,могущей быть в России, переживающей кризис революции. Другой власти быть не может — никто ни с чем не справится, все перегрызутся. Относительно того, что никто ни с чем не справится, дало предметный урок Временное Правительство, составленное из самых популярных лидеров всех либеральных партий, из «лучших людей» интеллигенции. Относительно того, что все перегрызутся, дала предметный урок эмиграционная политическая свара. Одна Советская власть, против которой были всемирная коалиция, белые армии, занявшие три четверти русской территории, внутренняя разруха, голод, холод и увлекавшая Россию в анархию сила центробежной инерции, сумела победить все эти исторически беспримерные затруднения.

Отчего?

II.

Непостижимо для нас, как могли римляне есть муренов, откармливаемых телами бросаемых в пруд рабов. Непостижимо, как мог цвет средне-вековой культуры присутствовать, как на празднике, при ауто-да-фе. Так же будет непостижимо нашим потомкам, как могли современные культурные люди пользоваться булавками и спичками, зная, что для их выделки люди отравляются металлическою и фосфорною пылью. Опрокинутые русскою революцией и борющиеся против неумолимо надвигающейся всемирной революции. обыватели, честно прожившие свой век и лишающиеся на вторую половину жизни плодов первой половины, недоумевают, в чем их вина. Виноват каждый, приколовший булавку, чиркнувший спичку.

Это — дурной тон. демагогия — вспоминать о богатых и бедных. Есть они и всегда будут — что же из этого следует? Даже Христос сказал: «Нищих вы всегда будете иметь с собой», чем, впрочем, возмутился Иуда и немедленно его предал. Но сами нищие решительно несогласны с богоустановленностью и извечностью такого закона — и уж тут сводится к Лассалевскому реальному соотношению сил. Год тому назад в Англии было около двухсот тысяч

безработных (не бастующих); теперь стремительная прогрессия довела их число до нескольких миллионов. Оно еще недостаточно, но если так будет расти и впредь, то усиленная до n + 1 армия безработных окажется в силах опрокинуть британский государственный строй. Что такой момент вообще наступит, мы все понимали и все, минуя неприличие о богатых и бедных, жмурили глаза, как маркизы при Людовике XV: «После нас потоп!» Не «хоть потоп», как неправильно переводят «Après nous le déluge», а именно «после нас потоп» — видели, что будет потоп, но успеют умереть. И оказались счастливее, или умнее нас; в самом деле умерли до потопа. А на нас пришла при жизни она, великая социальная революция, которую мы считали несомненною лет через двести. Мы — современники величайшего исторического катаклизма, но совсем этого не поняли, рассуждаем: Революция? Бунт? Когда все это кончится? Надо надеяться, скоро, не стоит раскладывать чемоданов. В действительности же это кончиться не может. Кончится старый мир, ни более, и не менее. Русская революция — социальная революция.

На мартовской революции она остановиться не могла. Мартовская революция — жалкий полустанок, на котором стремительный курьерский поезд может стать лишь на две минуты — и затем несется дальше, до конечной станции. Совершенно естественно высшие классы остановились на мартовской революции: они от нее получили все, что было им нужно — политическую реформу. И совершенно естественно классы, одинаково обездоленные при монархии и республике, пошли дальше — до октябрьской, до экономической, до настоящей революции.

Идеология мартовской революции запоздала на сто слишком лет. Идеология эта была выработана в XVIII веке философами-энциклопедистами для борьбы против феодальной монархии. Она заключается в так называемых правах человека: свободе личности и слова, всеобщем избирательном праве, парламентарном представительном строе. Все это было провозглашено французскою революцией. Но на смену XVIII веку пришел XIX — и его колоссальное развитие промышленности и торговли, его выросшие из земли громадные заводы и фабрики, его технические изобретения, его пар и электричество застигли человечество врасплох— оно не успело опомниться, как было ввержено в рабство экономическое. Капитализм, со всеми его чудовищными злоупотреблениями, привел, после экономического рабства к непосильным вооружениям, потом к нанесшей смертельную рану современному социальному строю небывалой вой-

не и, наконец, к безвыходному тупику внутренних и международных отношений в любом государстве, к окончательному банкротству прежней идеологии. Парламентарный строй стал притчею во языцех; уважение любого обывателя к нему подорвано бесчисленными скандальными разоблачениями. Где то время, когда В. Гюго пел вдохновенный гимн парламентской трибуне? Кто теперь верит, что всеобщая подача голосов выявляет волю народа? Преследуемые за спекуляцию мелкие козлы отпущения иронически советуют искать настоящих виновников народного горя среди спекулирующих на миллиарды, политических вождей, министров, генералов, главарей банков и промышленности, которых никто не решится тронуть. Все это происходит под знаменем демократии — народоправства. Демократы предлагают народу все политические свободы — «не изволишь-ли сенца, вот целый стог», — зная, что экономические рабы не могут пользоваться никаким политическим оружием. Но перемещение центра тяжести от политических завоеваний к социальным опрокидывает все позиции, одно может быть действительным средством против переполняющих чашу терпения всякого современных социальных несправедливостей. Вот письмо группы бывших военных в «Petit Niçois»; таких писем появляется много во всех газетах всех стран.

«Во время войны и после нее торжествовало воровство. Пока мы в траншеях рисковали своей жизнью многочисленные и скандальные богатства воздвигались на народной нужде. Депутаты, министры, промышленники, купцы — все соперничали в нечестности. Судьи все покрыли своею преступною слабостью. Настоятельно необходимо вычистить Авгиевы конюшни и заставить всех, обогатившихся на войне и нужде Франции, вернуть награбленное. Иначе гнев будет накапливаться и это доведет нас до революции. Да спасет Бог от такого несчастья нашу прекрасную страну!».

Изобретается масса средств, как избирателям держать на ниточке своего избранника, но ни одно не достигает цели: депутат, получив это звание, отрывается от своих избирателей, погружается с головою в совершенно чуждые им интересы, в жизнь столицы, в политическую кухню — интриги, честолюбие, корысть захватывают его. Он становится богат, становится министром; но депутат, сохранивший гражданские добродетели, ныне является воистину белым вороном. Однако, если-бы дело было в несостоятельности людей, то могла бы быть розовая надежда на их исправление. Дело в несостоятельности самого принципа. Народные массы являются игрушкою в руках ловких политиков, достигающих всеобщим голосованием совершенно неожидан-

ных для народа результатов; для примера достаточно сослаться на наше Учредительное Собрание, оказавшееся явно неспособным выполнить свою миссию, явно несоответствующим воле народа, выбранным с явными злоупотреблениями— и не поддержанное народом. Как он делается орудием политиков, показывает гениальная шекспировская сцена над трупом Юлия Цезаря. Чего стоит всеобщее голосование, показывают картины выборов, со своими неприглядными, часто комическими бытовыми подробностями в любом литературном произведении, начиная от Диккенсовского «Пиквикского клуба» и «Ричарда Дарлингтона» Дюма и кончая «L'engrenage» Бриė. Жизнь жестоко, обидно насмеялась над навязанною ей фикцией. Наконец самое серьезное значение имеет общеизвестный довод, что когда низшие классы не имеют средств, чтобы привлечь к защите своих интересов интеллигенцию достаточною оплатою ее труда, так что интеллигенция находится в материальной связи с богатыми и правящими классами, от которых зависит писатель, адвокат, ученый; когда сами низшие классы не обладают достаточным образованием, что-бы разобраться в сложной политической обстановке намеренно перед ними извращаемой и маскируемой; когда они не обладают средствами, что-бы нанять зал, заплатить типографии за набор газеты, брошюры или афиши, так что на одно их собрание или газету их противники отвечают сотнями из собственных помещений, собственных типографий—то получается крайнее неравенство в политической борьбе и равноправие граждан оказывается глубоким лицемерием. Но самое важное — правящие классы никогда не стесняются созданными ими-же политическими правами и так называемыми свободами, чтобы просто не подтолкнуть руку судьбы, когда она выбрасывает неугодные им карты на зеленый стол политики.

Свобода — какая прекрасная мечта! Какая синяя птица! Но она еще не поймана человечеством. Стремившийся к ней конвент начал, как Шигалев, с принципа крайней свободы и пришел к крайнему рабству. С тех пор прошел век с четвертью, в течение которого европейские политические деятели пытались основать на заветах первой революции, на свободах политический строй Западной Европы. Пытались искренне? Так-же, как люди исповедают христианскую веру. «Что вы говорите мне, Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю?» Это — не неискренность. Уважая светлые заветы Христа, люди только находят, что заветы сами по себе, а жизнь сама по себе, что заветы неприменимы к жизни — и она катится по совершенно чуждому христианства руслу. Так министр, который вздумал-бы принимать

свободы в серьез, искренне проводить их в жизнь, был-бы принят за с'умасшедшего. Свободы — секрет авгуров.

С 18 брюмера до разгона Учредительного Собрания армия всегда имела перед парламентом самый очевидный перевес и разгоняла, когда ей было угодно, всякие парламенты. Нельзя было ей дать голосовать, приобщить ее к политической борьбе, так вооруженные организованные граждане всегда навяжут свою волю невооруженной массе, а из'ятая из политической борьбы армия, армия «великая молчальница», армия «святая серая скотинка», оказывалась народом, кующим себе же цепи. «Пассивное повиновение», высшая добродетель солдата, давало военным вождям возможность всегда фактически делать политику. Всеобщая подача голосов парадоксом истории превращалась вообще слишком часто в орудие народного угнетения — плебисцитом прошел на престол не только Наполеон I — Наполеон III, после кровавого разгрома второй республики, после разгона парламента, после расстрела на улицах и в домах по всей Франции беззащитных граждан. Уверяют, что свободы действуют во время покоя страны, но этого покоя, по мнению правительств, нет никогда, и как только он нарушается, выступает принцип: «Во время пожара нельзя думать о разбитых стеклах». А все, угрожающее покою правящих классов, по их мнению, нарушает покой страны.

На недавнем процессе Лорио и Суварина прошли длинною вереницею старики свидетели, общественные деятели, писатели для того, чтобы засвидетельствовать, что с самого основания третьей республики в ней всегда люди преследовались за идею. Это было и раньше в самые либеральные времена всего XIX века. Вообще всегда шло по той-же схеме: правительство ссылалось на государственную необходимость в оправдание своего равнодушия к свободам, а оппозиция была ярым другом свобод, чтобы, пользуясь ими, свергнуть правительство. Как только оппозиционная партия получала власть, уже она становилась в антагонизм со свободами во имя порядка, а сверженные ею противники нападали на ее порядок во имя свобод. Сыновья В. Гюго были осуждены либеральнейшим судом присяжных за статьи против смертной казни и отец написал им, идущим в тюрьму: «Это правосудие исходит из этих судей, как змея исходит из гробов». Натиск коммунистов ныне заставляет все правительства без церемонии отбросить свободы, потому что коммунисты слишком сильная партия для легальной с ними борьбы правящих классов. Вокруг красного знамени сплотились все недовольные, обездоленные, вовсе не исповедующие коммунистических принципов. В то время как

правительство арестует Лорио и Суварина, присяжные их оправдывают и требуют внесения в Палату Депутатов закона, лучше гарантирующего свободу убеждений и слова. Однако, вместо этого в палату вносится такой законопроект, что даже французская печать указывает, что по нему пойдет в тюрьму всякий, кто напечатает прежние речи Мильерана и Бриана.

Растерянность власти во всех странах перед коммунистическим натиском заключается в том, что, желая сохранить либеральное лицо и видимость гражданских свобод, она разрешает коммунистические газеты и собрания, но недолгий опыт показывает, что она, со всею массою своих писателей и ораторов, против них держаться не может; это происходит всегда, когда растет со своею грозной стремительностью в обществе какая-либо идея — это происходит теперь от близящегося поветрия социальной революции. Действительных мер против нее не могут принять — для этого надо было бы поступиться своими интересами, привиллегиями, самоотверженно провести настоящую социальную реформу. Но запаздывающая сверху реформа всегда проводится снизу. Наследственность, воспитание, классовые интересы, все мешает обывателю идти со светлым лицом навстречу социальной революции; он ее не любит и боится; он — верный оплот всех престолов, всех правительств, всякого существующего «порядка», но порядка-то и нет, везде беспорядок, везде дороговизна, доводящая до банкротства, везде льется кровь, в Ирландии, в Италии, в Силезии, в Греции, в Испании, везде консервативно демократические правители, которых обыватель так-бы рад любить и защищать, гонят его к страшным коммунистам, доводят его в лучшем случае до нейтралитета между правительством и революцией. Когда правительство антипатично, симпатичною становится революция. Так она в марте произошла и у нас, при общем сочувствии все терявших при ней классов. Обыватель из мирного стал озлобленным. Он изверился, как это видно из вышеприведенного типичного письма, в своей власти законодательной, исполнительной и судебной, соучастницах всех вопиющих грабежей и спекуляций, он изверился в неприкосновенности своей собственности, выкачиваемой у него всевозможными легальными насосами и поэтому его классовые интересы уже оказываются парализованы: они слишком сильно страдают и при существующем «порядке». Отсюда повсеместная изоляция власти. Но ей надо защищать существующий строй. Как тут считаться со свободами? В Белграде, в 1920 г., коммунисты, вкупе с обывателем, поднесли ей ошеломляющий сюрприз: на вы-

борах в Белградскую городскую Думу коммунисты получили большинство. Надо было им отдать, по закону, власть над управлением столицею, ее хозяйством, ее кассою. Правительство этого не сделало. Оно придралось к тому, что где-то на выборах какой-то коммунистический оратор об'яснил свое отношение к присяге гласных, в общепринятом всеми оппозиционными партиями смысле так, как и наши социалисты, идя в парламент, приносили присягу на верность монарху: что она не связывает их убеждений, является необходимостью. За это-то раз'яснение всех коммунистов, ничего не говоривших, не пустили в Думу, не смотря на их избрание всеобщим голосованием. Не менее сильны натяжки юридической казуистики, к которым прибегают правительства и в других странах, чтобы примирить непримиримое: чтобы и свободы остались целы и коммунисты остались в тюрьме. Так играть в свободы больше нельзя, но не помогают и приемы культурного Держиморды, ставящего для порядка всем фонари под глазами — и правому и виноватому. Чем больше недовольных, тем больше фонарей, но чем больше фонарей, тем больше недовольных. Дорожат ли вообще правящие классы свободами не для себя — для низших классов, дорожат ли легальностью борьбы? Вспомните фразу Ольденбурга на Национальном С'езде: «Русское общество не должно рассчитывать на свободу, когда Россия восстановится. Еще может быть, будет дана та доза свободы, которая была при Александре III, но речи быть не может о свободе, которою оно пользовалось в довоенное время». А в частных беседах, как часто приходится слышать: «Французы, немцы поступили умно: во время убили Жореса, Либкнехта, Розу Люксембург, а мы пропустили время покончить с Лениным и Троцким. Вот теперь и наказаны». Убийцы, как известно, все избегли кары. Разумеется, в этих преступлениях нельзя винить правительства, но из политики правящих классов эта кровь вылилась как неизбежное, логическое последствие, в самый нужный момент. Так что уж говорить о свободах! Они теперь политическое толстовство, непротивленчество. Но текущий момент взят здесь лишь для большей наглядности. Так было — так будет. От конвента до наших дней ни одно правительство не было настолько безрассудно, что-бы давать в руки своих сильных врагов такое оружие, как политические свободы. Они давались лишь врагам бессильным. Нет возможности здесь делать исторический обзор всего XIX века, но где, когда было государство, основавшее на свободах свой строй? Прекрасная мечта изжита.

Мифическое, немыслимое правительство, которое было-бы так наивно, что-бы дать гражданам все значащиеся в их

законах свободы только в той мере, которая там либерально указана — лишило бы себя всякой власти удержать страну от превращения свобод в анархию. Ведь это только на бумаге выходит красиво и ясно: «свобода Ивана кончается там, где начинается свобода Петра», а на самом деле Джон Стюарт Милль является одним из тех философов, которых, по мнению Спинозы, нельзя подпускать к управлению государством.

Так уничтожена, как неприменимая к жизни, в сознании всех правительств, всех классов самая база утопии, выработанной первой революцией как база социального строя. Богине свободы еще воздвигают алтари, но заповедей ее не исполняют. Их невозможно исполнить. Приходится искать других оснований для нового государственного строя. А с этим, так ярко пылавшим светочем, зашли в непроходимое болото.

Этих новых путей стал искать социализм. В его теории есть очевидный, общеизвестный, всю ее подрывающий дефект: деление человечества на два класса, буржуазию и пролетариат, когда классов очень много и их взаимная борьба очень разнообразна, совсем не укладывается в примитивную схему, в которую ее заключает социализм. Но он правильно перенес внимание с политических на экономические вопросы. Об экономическую зависимость разбиваются все права человека и неимущим классам не помогает их многочисленность.

И вот, под влиянием последней войны, вдруг получился сдвиг. Картина мира изменилась в несколько лет — потому, что изменилась психология масс. Из покорных они стали сознательными. Теперь немыслим солдат — орудие королей, рабочий — орудие фабрикантов, крестьянин — орудие помещиков. Масса вся подняла головы, вся зашевелилась. В каждой голове есть своя мысль, в каждом сердце свое хотение. Изменение получилось такое же сильное, как когда в сказке зашевелился рыба-кит. Еще недавно он лежал неподвижно: «все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты», а теперь живущим на его спине совсем не удается ему доказать, как неудобно его потрясение и какой он глупый, что шевелится, как покойно и хорошо для него было лежать смирно. Так отвергается народом с иронией вся пышная, либеральная идеология правового государства, украшенная роскошною живописью лучших интеллигентных умов. Все эти свободы хороши, но текли только по усам народа, не попадая в рот.

С такою идеологиею пришла к революционному творчеству русская интеллигенция, — ей казалось, что прин-

ципы Радищева и декабристов не устарели за сто слишком лет, являются палладиумом современной веры. Но ведь бороться против язв современного общественного строя идеологией конца восемнадцатого столетия все равно, что предлагать против нынешних сверх-пушек и пулеметов мортиры и мушкеты того времени. Эти принципы могли быть стенобитными орудиями против монархического строя, но вспахивать революционную ниву ими нельзя. Свою положительную творческую силу они давно утратили .Понятно, что русская интеллигенция сохраняла их, пока в России сохранялся тот монархический строй, для борьбы с которым эта идеология и была выработана в XVIII столетии. Но когда он рухнул, Россия сразу, в несколько месяцев Временного Правительства, перелетела через все те иллюзии демократического строя, которые Европа изживала более ста лет. Россия оказалась настолько же впереди западных народов, насколько была сзади их. Советский строй, внезапно возникший на развалинах Российской Империи, во всеоружии, как Паллада из головы Зевса, ошеломил, спутал все теории, всю социологию, весь интеллигентский опыт. Он просто оскорбил, как наглый плебей, ворвавшийся в кабинет, где велись такие ученые разговоры, как дикий сон, бред, требующий права действительности. Кровь-бы простили, террор бы простили и всякое насилие, все ошибки — не простили новизны. При революции понятны реки крови и пара башмаков уже стоила двадцать пять тысяч франков ассигнациями — значит, это в порядке вещей и это бы поняли. Но такой дерзкий, головоломный прыжок — куда то вдаль. «Куда те дьявол мчит?» вдруг сорвалось у старика, «а тот летит и в даль глядит, а даль то даль как широка!».

III.

Еще из Майкова. После старика, растрясенного быстрым бегом тройки в русских полях, вот старик, мудрый высшею мудростью — умением, в минуту смерти, отречься от всего, что всю жизнь считал истиной.

Быть может, истина не с нами.
Наш ум ее уже неймет
И ослабевшими глазами
Глядит назад, а не вперед.
И света истины не видит.
И вопиет: спасенья нет
И, может быть, иной приидет
И скажет людям: Вот где свет!».

Так говорит, идя на смерть, Сенека своим ученикам. Прогресс немыслим без катаклизмов. Революция и эволюция сменяет друг друга, как солнце и луна. И уж извините — революция всегда нарушает покой обывателя, всегда уничтожает многие священные для него ценности, вообще ломает и разрушает. Революция всегда разрушает какую-нибудь форму рабства. Каждой форме рабства соответствует своя форма культуры. Было простое, неприкрытое рабство— и была эллинская и римская культура. Когда оно пало, конечно, стали немыслимы Перикл, Фидий, Сенека.

По роковому, быть может, даже неизменному для человечества закону, с уничтожением одной формы рабства немедленно является другая форма. Уничтожилось простое рабство — возникло рабство феодальное. И пышным цветком на этой, вновь удобренной людской кровью и потом, почве возникла блестящая средневековая культура с итальянским ренессансом. Освободила первая революция рабов от феодального гнета — рухнула и основанная на нем культура. Затем скороспелкою, на крохотный период, лет в полтораста, возникла культура, основанная на экономическом рабстве, благодаря стремительному прогрессу технических наук. Теперь рушится экономическое рабство и, конечно, увлекает за собою основанную на нем культуру, как крушение фундамента увлекает за собою здание. Если здесь нужно утешение, то оно в том, что истинные плоды культуры сохраняются, переживая породивший их строй: так сохранились «Илиада», пьесы Шекспира творения XIX века и, если неумолимое время со всеми своими катаклизмами, разрушает статуи, картины, библиотеки, то эти же катаклизмы и полезны для культуры: возникая из пепла, она молодеет, как феникс и, если бы не разрушалась, то и не молодела бы. Так закостенело бы человечество, если бы постоянно не умирало и не рождалось, сменяясь всецело, но всегда живое. Что было бы с культурою, если бы она не была разрушена после любого своего периода — египетского, греческого, средневекового? Она закостенела бы. Одна эволюция здесь бы не помогла: люди доселе бы ходили в тогах и писали гекзаметры без рифм. Что бы воскреснуть, культура должна умереть. В этом ответ на вопли, что социальная революция разрушит культуру, что большевики разрушили ее в России. Не будем, чтобы не вызывать лишнего спора, говорить о том, что именно русская социальная революция проявила изумительно бережное и трогательное отношение к художественным ценностям, но твердо, как основную базу спора выдвинем положение, что нельзя спора о культуре подменять спором о комфорте.

Что на Западе больше комфорта, спору нет, только этот комфорт, как и вся западная культура, для немногих, число которых с дороговизною все больше суживается, все больше выступает это неприятное, безтактное противуположение богатых и голодных. Но культура (не комфорт) Запада все более становится деревом, покрытым одними листьями, без плодов. История имеет свою логику: пока культура высших классов оправдывает их гнет над низшими, история терпит этот гнет. Но, по неумолимым социологическим законам, каждому крушению рабства предшествует упадок основанной на нем культуры, как будто для того, чтобы не о чем было жалеть, когда оно увлечет ее за собой в своем падении. Таков упадок Римской империи и Греции, забывшей о своих государственных мужах, поэтах и ваятелях, превратившихся в описанного Ювеналом грека. Таков закат Италии и Испании. Таков «конец века», как печально называли последнюю четверть XIX века, когда все были согласны, что культура, основанная на экономическом рабстве уже изжила себя, не дает плодов и похоронным звоном над нею звучали «Вырождение» Макса Нордау и философия Толстого, проклявшего ее именно за угнетение ею низших классов, за эти спички, отравлявшие фосфором женщин и детей. Еще в семидесятых годах Мишле говорил об этом очевидном тогда уже для всех упадке. А с тех пор? Одна техника, одно торжество материи, на которое он именно и жаловался, но никаких достойных человечества культурных ценностей в философии, в литературе, в искусстве. О философии вообще забыли и думать, а в литературе кто пришел на смену Гете, Шиллеру, Гейне в Германии, В. Гюго во Франции, Пушкину, Лермонтову, Достоевскому и всей светлой плеяде русских писателей? Если бы было семь праведников в Содоме, были бы настоящие, гордые, лучезарные таланты, у величайшего из них Толстого не поднялась бы рука для проклятия. Даже dii minores, как Золя, Додэ, Ренан, Флобер не заменены никем. Кого на Западе можно с трепетом ограждать от социальной революции так, как Архимед ограждал от варваров свои круги? Есть таланты второго сорта, но всем им давно нечего сказать. Впрочем, когда это было нужно правящим классам, то в силу лозунга «все для войны», под снаряды было брошено все молодое и даже пожилое поколение — погибали художники и писатели и все, холодно прославляя их геройскую смерть ,смотрели на нее как на должное. Но если возможна такая жертва на алтарь отечества, отчего она невозможна на алтарь революции? Значит, не в том дело, что жертвуется, а в том, для чего жертвуется. Льется кровь на алтари наших богов —

мы умиляемся, на алтари—враждебных нам богов — мы кричим о гибели культуры. Да разве только что, во время гражданской войны, не было готовности уничтожить хоть все ценности России, лишь бы сбросить большевиков? Эта готтентотская мораль была в вопросе о свободах — мы у власти, свободы подчиняются «государственной необходимости», мы в оппозиции — власть пренебрегает свободами! Она и в вопросе о культуре. Один интеллигентный и умный офицер говорил, что все произошло от того, что не догадались во время повесить Льва Толстого.

Итак культура и на Западе и в России перестала давать свои плоды уже с «конца века». Тогда же, как и в Римской империи, как и при Людовике XV, достигли нестерпимой степени разложение нравов вверху и нужда внизу. Сейчас оба эти явления еще прогрессируют. Русский казнокрад или спекулянт перед западным высокопоставленным — мальчишка и щенок и непередаваема нужда гибнущих среди западной «культуры»; сколько печатается мелким шрифтом, как обычное явление, сообщений о том, как родители от нужды убили детей и себя.

Зато, с точки зрения комфорта—«Попасть в душистый, теплый европейский театр, увидеть европейские лица, услышать живую европейскую речь — какое это блаженство, какая недосягаемая мечта для советского человека». Здесь уже, конечно, спору нет: нельзя ответить, что в России, в театрах идут классические произведения с Южиным, Ермоловой, Станиславским, Давыдовым, что в любом маленьком городке есть труппа в сорок человек, оплачиваемая Советской властью, когда прежде такая труппа в столице была роскошью, что заботливо хранятся все сокровища Эрмитажа и Третьяковской галлереи — ведь это все не душистое, ведь говорят о том, что в зрительном зале театра, а не о том, что дается на сцене, так как тогда нельзя было бы из всей новой драматической литературы театров Парижа, Берлина, Вены назвать хоть что-нибудь. Социальный сдвиг, война, вся трагедия, пережитая человечеством, никак не отозвались на литературном творчестве, не дали ни одного сколько-нибудь глубокого произведения. Этот сдвиг заставляет произвести страшную переоценку ценностей: всех социальных отношений, всего демократического, правового государства; заставляет многих людей произвести мучительную проверку своей совести, всего, во что верил, чем жил. Литераторы и драматурги об этом не подозревают: ничто не коснулось их ослепших глаз. Война явилась для них лишь эффектным аксессуаром, или поводом для шовинистических выкриков. В общем же они мирно сплетают свои адюльтерные и психологи-

ческие комбинации по давно избитым рецептам и наводнивший все парижские сцены мэтр из мэтров Батайль приглашает парижан умиляться над трагедией Дон Жуана, который в молодости имел массу любовниц, а под старость вынужден служанке платить за любовь. В чем же культура?

В угодливости утонченным вкусам тех, кто считает себя солью земли? Но не перестала ли эта соль быть соленою и не близок ли момент, когда ее выбросят вон? Эта культура родилась в 1789 году, состарилась к концу XIX века и убита на великой европейской войне.

Понятно, что на почве комфорта удобнее давать бой. В России разруха, потому что там социальная революция уже была, в Европе — накопленные культурою XIX века ценности, потому что там социальная революция еще в будущем. В России затхлый хлеб и сельди, в Европе — тюрбо. Очень характерно для определения почвы, на которую сводится спор, напечатанное в «Последних Новостях» письмо из Петрограда «журналиста демократа».

«Соболя, бриллианты, жемчуга, обнаженные плечи — да неужели же это еще существует не в мечтах, а в действительности? И вы смеете этим возмущаться? И вам не стыдно сюсюкать, что на одно манто могло бы прожить целое бедное семейство? Большевики вы несчастные! С такого вот сюсюканья и расползлась по земле вся наша коммунистическая пошлятина. Разве вам еще не ясно, чорт побери, что одни обнаженные плечи прекрасной женщины представляют в миллион раз большую абсолютную ценность, чем все бедные и несчастные семейства в мире».

Конечно, такой демократ на обозрении в Фоли-Бержер почувствовал бы себя в раю «культуры». Обнаженные плечи стали вообще некиим символом: публицисты, клеймящие голод и холод в России, все время возвращаются к ним, видя в них неопровержимый довод — что, в самом деле, возразить против обнаженных плеч? А. Яблоновский в уже цитированном фельетоне заставляет стосковаться по ним даже композитора Глазунова, просившего у Уэльса нотной бумаги и заканчивает свой фельетон поразительным, классическим доводом, что на Западе даже бедняки «могут любоваться витринами сказочных магазинов». На этом спор о культуре и комфорте в самом деле можно закончить. «Умри Денис, или больше ничего не пиши». Что можно написать лучше для апологии культуры, как поставить нищего, на холодной улице, перед витриной сказочного магазина?

На эти указания: «Ваш социализм голодный!» «Ваш социализм вшивый», «Кому он такой нужен?», коммуни-

спические газеты отвечают: «Действительно, кому нужен такой голодный и вшивый социализм» — и, виня во всем блокаду и гражданскую войну, сравнивают Россию с черным вспаханным полем, которое покроется зелеными всходами. После долгой гражданской войны и не до того еще доходили культурные государства: под конец тридцатилетней войны в Германии ели и человеческое мясо. Нельзя отрицать и того, что когда гражданская война кончилась всего полгода тому назад и с тех пор русские заграничные патриоты усердно втыкают палки в колеса России, то сделать что-нибудь времени не было. Однако причины разрухи лежат глубже: здесь сказалась в самой своей основе ошибочность социализма — то, что он уничтожает частную инициативу.

Делает честь уму советских правителей, что они поспешно повернули назад. Так, Петр Великий был достаточно силен, чтобы по поводу своего указа о майорате обнародовать, что этот указ «с дуростью был учинен».

Начало деятельности Ленина создало о нем неправильное представление, как о фанатике коммунизма. Теперь оно рассеялось. Если революция неизбежно привели к разрухе, к эксцессам, то сменяющая ее уже эволюция является противоядием. Ведь через четыре года после начала французской революции был 1793-й год, апогей террора. Мы же уже подходим к директории. Температура у больного упала почти до нормальной, как он еще ни изнурен благополучно завершившимся кризисом. Врачи-отравители решительно выставлены за дверь, как ни клянутся, что в их шприцах не яд, а лекарство. Теперь больному нужен покой и хорошее питание. Это, конечно, пока нелегко, но достижимо, если никто не ворвется и не помешает. Главное — не надо больше кровопускания.

О советском строе, существующем всего четыре года, нельзя пока судить, как и о первом бесформенном пароходе, теперь преобразованном в плавучие дворцы. Парламентаризм был централизацией. Все управлялось из столицы, туда собирались депутаты из провинций ради фикции, что они сохранят связь с провинциями. Советский строй — децентрализация. Это прямая противоположность парламентаризму.

И если при парламентской централизации проблемы о свободе разрешить не удалось, то, быть может, при советской децентрализации окажется свободнее народ, в любом городе, в любой деревне сам определяющий свой внутренний распорядок, так, что в каждой деревне управляет свой комитет, в каждом городе свои комиссариаты юстиции, фи-

налогов, народного просвещения, — весь государственный аппарат в миниатюре. Что бы ни говорилось про коммунистическую диктатуру, нельзя отрицать, что народные массы таким строем местной жизни привлечены к власти и работают в этих комиссариатах, управляя Россиею так же, как, по изречению Николая I, ею управляли столоначальники, впрочем, к народным массам не принадлежавшие. С диктатурою, с суровою централизацией, без которой нельзя было бы и держаться в гражданской войне, своеобразно сочетается очень большая самодеятельность и автономия власти на местах, вышедшей из народа, ибо нельзя же думать, что коммунистов, «насильников», «ничтожной кучки» хватит на всю Россию. Всюду свои законы, обычаи; Полтава, Екатеринослав, Чернигов, состоят в федеральной связи, в каждом из них правила и распорядок различнее, чем различных Соединенных Штатах. Все государство основано на федерации, все города — на автономии. Курьезно, что крайние правые русские беженцы в Сербии основали свой строй управления по советскому типу: в каждом городе свой беженский совдеп. Но опыт советского строя так еще в зародыше, так нуждается в усовершенствовании, как дуб Людовика IX, сравнительно с системою современной юстиции. Пока можно сказать лишь одно, что форма оказалась жизненною, а оценить это громадной важности историческое явление, совершенно новую форму правления, еще более чем преждевременно. Что такое для формы правления четыре года? Но как жаль, что интеллигенция, не оценив всего значения совершающегося на ее родине, уцепившись за отжившие демократические формулы, забастовкою отказала в своем сотрудничестве России именно тогда, когда оно было наиболее ценно. Сколько эксцессов было-бы смягчено и устранено, сколько крови не было бы пролито. Может быть, человечество было-бы уже придвинуто к разрешению проблемы свободы, подлежащей решению вновь, после того как история, справившись в отделе решений, нашла, что парламентаризм — ответ неверный. Пожалуй, и не может быть верного ответа, не может быть золотого века, пока существует человечество и проблема свободы — задача на безконечно великое число, к которому можно только приблизиться, но не достичь его. Можно, однако, даже при все извратившей забастовке интеллигенции, с уверенностью сказать, что советский строй, сравнительно с парламентаризмом, шаг вперед, ибо устраняет экономическое рабство. Теперь искания для дальнейшего решения задачи в том, как немедленно, в самом начале, устранить новые, очень тяжелые формы рабства, явившиеся в России на смену

рабству экономическому, устранить все дефекты, которых, как в первом пароходе, очень много в советском строе. Здесь помогла-бы добросовестная критика, борьба против язв строя для того, чтобы помочь ему, а не борьба против самого советского строя до мифического победного конца. Каков ни есть этот строй, он нравственно сильнее своих противников. За ним будущее, а они стремятся повернуть назад колесо истории. Советский строй стал озлоблен, тяжел, часто несправедлив, но ведь и было отчего, когда в первые полгода, до всей эс'эровской азиатщины политических убийств, до ряда убийств из-за угла Володарского графа Мирбаха, Урицкого, до двух покушений на Ленина, Советская власть, как могла, шла на встречу интеллигенции. Собрания присяжных поверенных и разных других организаций были открыты до сентября 1918 года и занимались одним принятием антибольшевистских резолюций. Почти до того-же времени существовали «буржуазные» газеты, неистово ругавшие большевиков. Вся доза свободы, которая была первоначально предоставлена интеллигенции, все время была использована для того, что юридически называется стремлением к низвержению существующего государственного строя. Какое правительство потерпело бы это? А Советское терпело долго и, наконец, пришло к заключению, что примирение безнадежно, что ни на что другое, кроме борьбы с Советской властью, интеллигенция свободы не обратит. Тогда со свободою было покончено. Долго шло колебание между террором и идиллией, такое характерное для революции вообще. Непримиримость интеллигенции и начавшаяся гражданская война уничтожили совсем идиллию и совсем разнуздали террор.

Террор... Сердце замирает перед трагизмом и страшною ответственностью этой темы. Я знал, что к ней подойду и подавлен, когда к ней пришел. Но попрежнему не буду жмуриться, какой-бы ужас ни глянул в глаза. «Исследуем», как бесстрастно говорил Сократ, — хоть может-ли быть перед этой липкою кровавою лужею, покрывшею Россию, какое-нибудь бесстрастное исследование?

V.

Скажем сейчас-же самое важное: речь идет не о красном терроре, а вообще о терроре русской гражданской войны — красном и белом, безразлично. Здесь-то непримиримее всего готтентотская мораль: «наших убили — преступление. Их-них убили — так им и надо, даже подвиг». Одна очень добрая и изящная дама говорила о впечатлении.

произведенном на нее вокзалом, полным красноармейцев и рабочих: — «Если-бы я могла, я бы на всех их вылила кислоты». Те, кто мог, делали еще чудовищно хуже. Итак, террор — не козырь для белого, или красного лагеря в обвинениях противника. Здесь оба лагеря преступны, оба обагрили руки в братской крови — не бойцов, а беззащитных, часто детей и женщин. Пора кончить с этою аберрацией, при которой, в царские времена, одна часть русского общества покупала на митингах карточки убийц, делая святых из «Маруси» Спиридоновой, Гершуни, Деконского, Савинкова, а другая требовала «леса виселиц» и славословила карательные экспедиции. И теперь, при возмущении большевистским террором, теми, кто уверял, что хочет Россию освободить от террора, в одном Новороссийске было расстреляно столько рабочих и крестьян, мужчин и женщин, что их опутанные колючею проволокою трупы всплывали на самом взморье, где «буржуазия» купалась и возмущалась этим немало: «Что уничтожают эту сволочь — прекрасно, но надо-же убирать как следует». В. Л. Бурцев был в Новороссийске в самый разгар белого террора — и не сказал ни слова: ведь он поддерживал Деникина. Первым моим впечатлением, когда я перешел фронт, готовый молиться на добровольцев и их трехцветный флаг, были рассказы офицеров, хваставшихся пытками, которым они подвергали пленных и количеством расстрелянных, которое я тогда же запомнил на всю жизнь: у Армавира одиннадцать тысяч, у Белой Глины — семь. Потом я узнал, что эти цыфры преувеличены, хоть были случаи расстрела в данной местности или деревне, в виде кары, всего мужского населения, но какова-же психология этих хваставшихся, преувеличивавших цыфры? Я должен подчеркнуть, что террор, в общем своем типе, как Новороссийские расстрелы, или экзекуции провинившихся деревень, был не эксцессом отдельных лиц, а правительственным актом. Но и тогда, когда хронически, месяц за месяцем, имели место постоянные эксцессы, разве власть не виновна, по крайней мере, в попустительстве? Моя первоначальная вера в эту власть, все написанное и сделанное мною на юге для помощи ей в пределах моих слабых сил — останутся навсегда самым тяжелым моим воспоминанием, самою печальною ошибкою моей жизни. Но кто мог безошибочно разобраться в этом хаосе?

Потом от всего, что пришлось увидеть, сбылось то, что говорили солдаты: «Надо побыть у белых, что-бы стать красным».

Я бежал от красных именно потрясенный террором —

и наткнулся на террор. Возмущался отсутствием свобод— и увидел народ в такой кабале, хотя-бы крестьян, преданных помещикам на расправу, что перед этим бледнела коммунистическая диктатура: правда, от нее страдал мой класс, а на юге — крестьяне и рабочие. Словом, все отрицательные стороны советского строя, на которые так нападают, я увидел и на юге, часто еще в большей степени. Если понимать большевизм так, как его понимают в белой печати, как выражение отрицательных сторон великой русской революции, как болезнь, заразу, то она охватила всю Россию: нет красного и белого большевизма; есть один большевизм, если большевизм—произвол, озверение, неуважение к личности, алчность и кровь, кровь, кровь. Так слово «большевизм» понимают многие. Сами советские деятели не любят, чтобы их называли большевиками — они коммунисты, советские служащие. Не о словах спор. Если понимать слово «большевизм» подобно эмигрантской печати, в смысле всей дурной стороны революции, как чорт был дурною и пошлою стороною Ивана Карамазова, то уж, конечно, террор тогда—большевизм, кто-бы ни пытал, ни издевался, ни грабил, офицер в погонах, или председатель че-ка.

Здесь не может быть никаких сделок с совестью. Террор позорен — постыден садизм его, неведомый не только якобинцам, но и инквизиторам. С этими утонченными, дьявольскими пытками может сравниться лишь террор культурных европейцев и американцев над «нисшими расами», черною, красною, желтою, когда, как описывает Мирбо; полложине арабов обривают головы и закапывают их по шею в песок пустыни под палящим солнцем, а затем еще поливают эти кочаны, что-бы они не так скоро полопались. Русский террор по своей садической изобретательности сравнялся, пожалуй, даже с главными мастерами этого дела, с англичанами, с их Стэнли, с их забавами от сплина в Индии. Террор—главный, тяжкий грех Советской власти. Она не может оправдываться ссылкою на зверства добровольцев или англичан,—ведь они ей не указ, они представители отживающего мира, а ее миссия—новая культура, так если начинать с такого ужаса? Если оправдываться революционною необходимостью, то «это больше чем преступление, это—ошибка». Террор стал самодовлеющим, разнуздал низшие, извращенные инстинкты. Харьковцы рассказывали, что малолетний сын известного Саенко просил: «Папа, дай мне пострелять буржуев», и отец давал винтовку любимому сыну. Не хочется верить этому, но к безответному небу вопиют бесчисленные, страшные факты, уже несомненные; доказанные кровавыми, снятыми с женщин скальпами, тру-

пами, найденными в таком виде, что даже врачи не могли разобрать, что с ними делали—напр. были тела темно-коричневого цвета. Террор—ошибка, потому что затруднил Советской власти ее несомненное право войти в европейскую семью. Он отбросил Россию в Азию. Он, вызывая ужас, не подавлял, а вызывал восстания. Он дал тень оправдания белому террору. Он дал главный козырь в руки близоруким проповедникам «борьбы с большевиками до победного конца». Он длит доселе уже кончающееся русское междуусобие, хотя, к счастью, идет на убыль; пропорционально укреплению Советской власти. Она укрепилась не благодаря террору, а несмотря на террор.

Не приходится-ли тогда отказаться от всякого общения с запятнавшими себя таким преступлением? Однако, есть-ли русская партия, или класс, есть-ли часть русского народа не обагрившие рук в крови? Ведь уж тут трудно судить по степени: кто «вывел в расход» десять тысяч, кто сто тысяч, кто был более мягким, кто более жестоким палачом, кто убивал, кто подстрекал и радовался. Я говорю все время не об убийстве врага в бою, а о пытках, казнях, убийствах беззащитных. И какая партия теперь согласилась-бы, принимая власть, отменить смертную казнь? Не кажется-ли убеждение о необходимости именно теперь ее отмены, чтобы вывести человечество из кровавого тупика, всякому ответственному политическому деятелю наивной маниловщиной? А тогда уж все сводится к заботам общества покровительства животным перед мясниками: «Убивайте, но не мучьте». Или если уж никак нельзя не мучить, то мучьте все-таки умереннее. Если беззащитного, не сопротивляющегося человека можно повести на бойню, если интеллигентские утопии все, что писали против смертной казни лучшие писатели, как Гюго, лучшие юристы, как Таганцев, если огрубевший после войны век стер точно губкою с грифельной доски здесь, казалось, уже навсегда достигнутые заветы, то уж, право, не так важна разница между пыткою интеллектуальною, как у семи осужденных Андреева, или физическою пыткою. Это уж вопрос, как понимать государственную необходимость — довольно ли устрашить казнью на гильотине или надо еще больше устрашить четвертованием, «чтоб другим неповадно было». Так война нас стремительно отнесла к юриспруденции и психологии средних веков. А если так, то, извинившись за неуместную сентиментальность и возмущение казнями и пытками, позвольте доложить, что есть две исторические манеры проливать кровь, есть две манеры быть жестоким. Есть жестокость бессмысленная: таковы Нерон, Гелиогабал, Мария Тюдор, Би-

рон. Они ничего не строят, проливают кровь потому, что это им так нравится. Есть жестокость Суллы, Марка Аврелия, несмотря на свою доброту беспощадно гнавшего христиан, Иоанна Грозного, Петра Великого, Кромвеля, Людовика XI, Ришелье, Робеспьера. Каждый из них строил разное, но знал, зачем проливает кровь и, если то, что он строил, было умно и полезно, то история ему его кровавый грех отпускала, мало того признавала, что иначе бы ничего и построить было нельзя. Ведь теория народоправства опровергается еще и тем, что, если стоять на принципе большинства, то никогда не будет проведена ни одна решительная реформа, потому что большинство всегда за старину и без ломки обывателю всегда кажется удобнее: ему нет нужды, что ради этого удобства отравляются, чахнут, голодают, другие. Жизнь не ждет, когда он, наконец, увидит, что не может справиться с грудою накопляемых его удобством зол, а до того кладет его под топор, если он ей противится.

Представьте себе, что современники Петровской реформы стали бы судить о ней по неуклюжести бояр в новых камзолах, по безобразному заполнению русского языка иноземными барбаризмами, по массовым казням стрельцов и сторонников Софьи, по возмущению стоявших за старую веру смелых и честных христиан, по неудачам русских войск под Нарвой и в турецкой кампании. Какой хаос! Что сделали со Святой Русью, «а ведь какая была держава!». Как сменили «величавую одежду на другую по шутовскому образцу», исказили русский язык, как жестоко расправляются с противниками, не считаясь с тем, что на стороне реформы ничтожное меньшинство! И если ее противники не бежали от нее в Европу, то оттого, что из ненавистной им Европы и приходила страшная новизна, но они бежали в скиты и леса, предавали себя самосожжению с более фанатической уверенностью, что страдают за веру, за Русь, чем офицеры белых армий, или интеллигенты, гибнущие заграницей. Но постепенно все образовалось. Немного понадобилось времени, что бы защитники старой допетровской Руси, за которую был раньше весь народ, перевелись, сознали свою ошибку. Камзолы оказались удобнее охабней, русский язык стал европейским из азиатского — и Нарву сменила Полтава.

Начало всегда страшно, безформенно, полно преувеличений. Совершенно то-же самое произошло с французскою революцией, которой вся интеллигенция простила пролитую кровь и невероятный в начале хаос за творческую идею.

Эту-то творческую идею отрицают противники русской революции, применяющие к ней мерку французской. Эми-

тризовавшая русская интеллигенция об'единилась вокруг идей, дорогих ей по воспоминаниям, по ее молодости, по прежним боям — и не увидела во время, что эти дорогие ей истины стали ложью и тленом пред быстро бегущею жизнью. Сохраняя эту разбитую жизнью часть выдвинутых первою великою революцией идей, нельзя, конечно, усвоить идеи, выдвинутые второю великою революциею. Вторые, развивая первые, часто отменяют их. Суровый конвент, так стоявший за народ, однако, издал декрет, карающий смертной казнью всякого члена самого-же законодательного собрания, который предложит законопроект, в чем-либо посягающий на право собственности. Переоценка «святого права собственности» — главная творческая идея, главная заслуга великой русской революции.

Отчего оно, единственное из прав, называется святым правом собственности?

Отчего на всех с'ездах особенно настойчиво подчеркивалась необходимость восстановления этой святыни?

Повидимому, такая терминология не соответствует даже христианству — заветам нагорной проповеди. И во всяком случае другие свободы, казалось-бы, гораздо святее. Но есть такие мелочи, в которых обнаруживается все. Так как все свободы, лицемерно проповедуемые собственниками, лишь прикрывают это право, то, понятно, святым является оно одно. Оно — господин. Остальные — слуги. Оно — настоящее. Остальные — ложь.

Разумеется, не надо, возражая на понимание обновленным русским строем права собственности, уподобляться шурину Нехлюдова, думавшему, возражая ему, что социалисты хотят разделить все поровну, что это очень глупо и что он сейчас это опровергнет. Не надо уподобляться и матросу, который, спросив буржуя, чья на нем шапка, убил его за ответ: «моя» вместо «шапка Российской федеративной советской республики». Уже эрфуртская программа подчеркивает, что вовсе не отрицает собственности. Термин «собственность» имеется в некоторых декретах Советской власти. Но собственность не неприкосновенна. Шапка моя, пока не понадобится Российской федеративной советской республике.

Это не ново; наоборот, старо, как мир. Всегда были принудительные отчуждения, налоги, реквизиции. Так что может даже показаться, будто никакой тут реформы нет. Но что она есть — показывают результаты: аннулирование бумажных ценностей, банков, отчуждение земель и домов и вообще вопли всех, утративших свою собственность. По-

смотрим-же, что делается в этом отношении на Западе и у нас, в чем разница и в чем сходство.

Сдвиг сказался и на Западе. По правильному, но оставленному втуне указанию члена Национального С'езда Николаева, собственность на Западе из неограниченной монархии стала конституционной. Очень характерна хотя-бы новая уголовная норма о спекуляции. Эта норма прямо разбивает неограниченность права собственности: ничем не нарушая какого-нибудь другого закона, купец не имеет, однако, права наживать на свой капитал больше определенного процента. Государство вмешивается в его сделку с покупщиком, хотя-бы тот был готов заплатить, что угодно. Первая такая брешь в Римском принципе qui suo jure utitur nemini facit injuriam была пробита законом о ростовщичестве. Затем государство нашло необходимым в сделках о наемном рабочем труде также защищать слабую сторону от сильной, против чего так ожесточенно спорят английские, а за ними и пребывающие в Париже русские промышленники. При сдвиге и праву собственности приходится оседать на общем социальном оползне.

Тем не менее, оно на Западе всесильно. Мы уже видели, как оно регулирует все политические права, лишая их низшие классы. По выражению одной известной писательницы в письме ко мне, ныне в политике, подобно прежнему выражению «ищите женщину», надо говорить «ищите банкира». Даже при борьбе Наполеона I и англичан не на жизнь, а на смерть, банкиры, как известно, умудрялись привлекать к своим предприятиям и одновременно эксплоатировать и Францию, и Англию. Но тогда банки были в зародыше. А теперь не будем ломиться в открытые двери, указывая на роль Штиннеса в Германии, или захват банкирами свободной третьей республики. Всякий знает, что банки теперь — все. «Если жизнь не подешевеет по крайней мере на пятьдесят процентов», стонет один автор письма в редакцию «Le petit Niçois», я буду приведен к печальной необходимости голосовать за коммунистов. Когда мне терять нечего, я не могу чувствовать нежности к ворам, которые, если придут большевики, могут нести свои банковые билеты куда им угодно!»

Когда уж французский буржуа начинает так непочтительно относиться к банковым билетам, то чего мудреного ждать от народа полного их аннулирования? Усовершенствованный фокус, которым, для обогащения немногих, народное достояние превращается в бумаги, вызывает все меньше почтения. Он не так и стар: ему всего около двухсот лет. Многие яды бывают лекарствами, но ими можно и

отравлять. Бумажные ценности ныне обращены в орудие легального грабежа. Народ задыхается под грудою этих бумаг. Конечно, величайшею дерзостью по адресу собственников было повторение русской революцией слов Луки: «Бумажки эти все такие... все никуда не годятся». Но какой другой способ есть у Запада, что-бы сказать всем nouveaux riches, обогатившимся на счет разоренных ими: «Игра давно ведется нечисто — отдайте обратно ваш выигрыш».

Вот общество, которое разрешает все созданные им затруднения самыми сильнодействующими средствами: всемирною войною, убийствами, поджогами, как «защитники порядка» в Ирландии и Италии, оккупациею целых провинций, карательными экспедициями, массовыми смертными казнями. Но когда революция касается его фетишей, разрубает какой-нибудь завязанный им Гордиев узел, то оно кричит о варварстве всякого решительного способа борьбы. Когда надо посягнуть на собственность неимущих, оно вечно ссылается на государственную необходимость. Вся современная юриспруденция направлена на ограждение собственности имущих классов, оставляя собственность остальных неограждениою, воистину по слову Писания: «Тому, у кого есть, приложится еще, а от того, у кого нет, отнимется и то, что он имеет». Получается некоторая легализированная игра — разрешенные и неразрешенные способы приобретения чужой собственности. Бороться против этого усовершенствованного оружия: против биржи, с ее международным курсом, акциями и облигациями, против спекуляции, дороговизны, налогов, против палаты депутатов или рейхстага, мелкие собственники, разумеется, не могут и бывают ограблены по всем правилам искусства, на самом законном основании.

Какие могут быть протесты против нарушения права собственности Советской властью, когда ни один, хоть немного оценивающий обстановку, политический деятель не сомневается в необходимости оставить крестьянам захваченную ими землю, когда нет сомнения, несмотря на все резолюции с'ездов, что никогда крестьяне за эту землю ничего не заплатят ни прямо, ни косвенно? Ведь это самое радикальное нарушение права собственности. Но оно принимается даже эмиграцией из политических соображений, так как класс помещиков ныне ненужен никому и надо было быть Деникиным, чтобы предпочесть его крестьянам. Святое право собственности на самом деле основано на всевозможных насилиях и обманах — в России между прочим значительно на крепостном праве. Могут быть две точки зрения: по одной — поместья и богатства, пожалованные

Екатериною Потемкину, принадлежат Потемкину и его правопреемникам, по другой — крестьянам, которых драли в этих поместьях. Спорить тут не о чем, потому что эти точки зрения лежат на разных плоскостях: точки соприкосновения между ними нет. Так, не уничтожая права собственности, русская революция, во первых, устроила перераспределение богатств, бывшее необходимым при неправильном их распределении, колоссальном накоплении их в руках аристократии и плутократии. Во-вторых, она стремится создать государственный контроль, чтобы ничего подобного больше не повторялось и собственность являлась действительно эквивалентом труда, как, в угоду капиталистическому строю, вопреки очевидности учит ныне его служанка, политическая экономия. Меры, направленные к достижению этой второй цели часто «дуростью учинены», и остаются непроведенными в жизнь, как отмена наследств, но, ведь, и задача очень трудная. На Западе правящие классы делают все, чтобы превратить в чудовищную истину парадокс Прудона: «Собственность есть кража». В России Советская власть старается упорядочить, урегулировать «святое право собственности». Если не отнять у него этого прилагательного, то недолго выдержит и существительное: при закупоренном клапане лопнет котел. Оттого сами капиталисты открывают клапан на Западе, иногда очень широко, как Ллойд-Джордж своим огромным налогом на наследства и допущением рабочих к участию в прибылях. Одни наши русские эмигранты ничего понять не хотят и вопят на с'ездах: — «Караул! Ограбили! Святое право собственности!».

Или, действительно, можно трон разрушить, но не банки? Пишите против Бога — конечно, никакой революции. Пишите против властей — оппозиция. Пишите против капитализма — опаснейшая революция, каждое слово наливается красной краской. Здесь нападаешь на сильных. Политическая революция в них не попадает. Разрушающая существующую собственность революция попадает в цель, одна является настоящею. И именно потому, что она по настоящему ранит, от нее кричат по настоящему. Но разве меткость — преступление? Если «на земле весь род людской чтит один кумир священный», то для революции сама собою напрашивается тактика ударить именно в этот кумир и, с победною улыбкою, слушать растерянные вопли и проклятия его огорченных жрецов. Пусть они, мистически возводя очи к небу, называют посягнувших на такую святыню сынами дьявола, или сводят всю великую революцию к украденным серебряным ложкам. Революции им не опошлить — они расписываются лишь в пошлости и узо-

сти своего кругозора. Не краденым пользуется русский народ, а взятым.

Взятым по праву — не по праву собственности, основанному на таких мутных источниках, а по праву вековых страданий, векового рабства и труда. Или делать революцию, или не делать. Как можно было думать, что народные массы возьмут власть в свои руки, оставив дворцы, банки, общественные помещения, типографии и все накопленные на народном поте богатства в прежних руках? Черный передел был неизбежен при захвате государственного аппарата. При ломке всех социальных отношений неизбежна была ломка всех прежних прав. Это не входило в задачи революции политической: мало того, если бы делавшие ее правящие классы сознали эту возможность, они бы очень предпочли царя. Но для социальной, экономической революции это было первою задачей .

Теперь понятно, отчего, вопреки утверждениям эмигрировавших публицистов, народ, часто резко критикуя Советскую власть, проявляя свое недовольство ею, все же смотрит на нее как на свою ,родную и смел всех шедших на нее походом — и отчего за всю историю парламентов не было ни одного, за который народ бы заступился, кто бы их ни разгонял, Наполеон I, Наполеон III, Николай II, матрос Железняк. Выбирали равнодушно и провожали равнодушно. Была без радостей любовь, разлука будет без печали. Советская же власть для народа — своя, понятная даже при ее ошибках, эксцессах, произволе, притеснениях. Пусть плохая, но своя. Народ здесь отличает самый институт Советской власти от дурных ее представителей. С нею есть у него общий язык, если хотите, товарищество. Его недовольство, местные восстания, все его свары с Советскою властью — семейное дело. Ведь, в семье подчас летят друг другу в голову ухваты и горшки. Но никого другого на смену Советской власти, народ в Россию не пустит и тщетно мечтают, внимая рассказам интеллигентных беженцев, парижские москвичи: «Нас призовут». Тех уступок, что они делают теперь, когда это им ничего не стоит, было бы довольно в своё время, чтобы отсрочить революцию. Что-же они не делали их тогда, когда земли и фабрики им принадлежали — не перекрестились даже после грома, грянувшего в1905 г.? Как легкомысленно отнеслись русские правящие классы к данной историей двенадцатилетней передышке. А теперь поздно — и народу в высшей степени все равно, чем они его там дарят в Париже. Он и не подозревает об этом, работая на своих фабриках, на своей земле. И, право, способ, которым он их получил, не

хуже других исторических способов, которыми были составлены латифундии и миллионные состояния.

Потеряв свою собственность, потерпевшие естественно находят, что в России отменена всякая собственность. Не вдаваясь в политическую экономию, в которой революция сделала такой-же переворот, как война в географии Европы, не вдаваясь в спор между социалистами и их противниками, определим кратко: до революции право собственности было самодовлеющим, было целью; после революции оно стало средством для государственного развития. Теперь правительство с любою собственностью может сделать то, что с деревнею генерал, ее сжигавший по тем или иным государственным соображениям. При этом, в государственных и частных правоотношениях карты перетасованы и сдаются вновь — игра ведется сначала.

Это совершенно не противоречит тому, что народ является убежденным собственником. Ведь, из того, что Советы созданы социалистами, не следует, чтобы они были неотделимы от социалистов. Между Советскою властью, как правовым институтом, и социализмом нет даже ничего общего. Деревня уже регулировала теоретические увлечения социалистической власти, и та, отклонясь от принятой ею марксистской линии, пошла по равнодействующей. Жизнь вливает в вино коммунизма все больше воды и оно теряет свою крепость. Это—тот второй день, который есть у всякой революции. Доктринеры тогда доводят до термидора, но реальные политики не доставляют своим противникам такого утешения и получается комическое зрелище: противники коммунизма проклинают его вождей за отступление от него, за недостаточную красноту. Понятно, этим разбиваются надежды на гибель коммунистов, на то, что они перекрутят винт. Когда, после занятия ими значительной части Юга в начале 1919 г., в местные комиссариаты стали поступать дела о спорах относительно собственности на дома, на земли и о даже тогда уже отмененных наследствах, то все эти дела решались по старине, не по декретам. Никакой комиссар не подумал бы сказать владеющей своим домиком в городе бывшей мещанке Степаниде Петровой или пришедшим делиться наследникам умершего крестьянина Сидорова, что их собственность им не принадлежит. Революция была направлена против определенных категорий собственников, у которых и нельзя было вырвать власти, не вырвав собственности. Но глубоко не соответствует действительности утверждение, что собственности в России не существует. На собственности попрежнему зиждется весь народный уклад, весь быт.

Все в конце концов свелось к дележу приобретенного революционным путем, или как стонут потерпевшие «награбленного», имущества. Этот дележ происходит вполне на началах собственности. Le roi est mort, vive le roi! Таким образом все образуется — в России будет и собственность, и частная инициатива, и торговля, и кооперация, не будет только выброшенных заграницу прежних собственников Они могут сколько угодно жаловаться на безнравственность такого с ними обращения. С точки зрения выработанной ими же морали они совершенно правы: собственность ближнего можно получить ловкою биржевою комбинацией, но не революционным путем. Революция против их собственности — нечто неслыханное по дерзости. Что делать, она — факт. И Россия, обремененная стомиллиардным долгом союзникам, бывшая накануне совершенно невероятных комбинаций чужих и своих капиталистов, которые все запустили бы в ее тело свои когти после войны, после ее-же победы. Россия, заведенная до Октябрьской революции в безысходный международный и внутренний тупик, от этой революции только выиграла. Ведь, видят то, что есть — не видят того, что бы было. Теперь же тяжело, но выход есть — и Россия, о гибели которой кричат, уже стоит у заветных достижений своей исторической политики.

V.

Великий гуманист В. Гюго, распределявший в 1870 г. поровну собранную им корпию между французскими и немецкими ранеными солдатами, мечтал о Соединенных Штатах Европы и выражал уверенность, что XX век осуществит эту мечту.

Если патриотизм основывать на вражде к другим государствам, на уверенности, что наше государство, наша армия, наш народ самые лучшие и должны быть самыми сильными, всем предписывать свои законы, то такой патриотизм, разумеется, эволюционировать не может, приводит к «старому немецкому богу» Вильгельма. Это — то, что ныне называется империализмом. Но патриотизм может быть основан на естественной, простой любви к своей родине без вражды и заносчивости, как существует любовь к своей семье, вовсе чуждая вражды к чужим семьям. Тогда окажется, что любовь к родине вовсе не противоречит любви к угнетенным классам всех стран, призывам к их объединению и, согретые любовью, патриотизм и интернационализм могут даже быть пригнуты друг к другу, как два железных болта, твердых в холодном состоянии, повидимому,

безнадежно торчащих врозь, но мягких, когда согреты в пламени. Веривший в Соединенные Штаты Европы В. Гюго был пламенным французским патриотом. В его великой любви к человечеству одно сливалось с другим. Россия, изнуренная и голодная, теперь стоит в сознании народных масс всего мира на небывалой высоте. Прежде страшилище для народов, оплот всех реакций, международный жандарм, она теперь ожидаемая всеми народными массами освободительница. Это — факт несомненный, которого не может отрицать ни один добросовестный наблюдатель настроений народных масс в любой европейской стране. У всех то же чувство: «Если в России такие же люди, как мы, могли сбросить власть капитализма, то это можем и мы. Чем мы хуже? Говорят, там наделали ошибок, преступлений, довели до разрухи. Немудрено: дело новое. Но на опыте других надо учиться — их ошибок можно и избежать». В расслоении рабочих на принимающих или отвергающих московскую программу нет нигде групп, признающих святыми устои старого мира, все на чем он держится: о том, что эти устои следует разрушить, там спору нет;спор идет о том, насколько крепка несравнимая с русскою западная буржуазия, как еще лучше взять, приступом или медленною осадою; спор идет о силе, а не о праве. В праве своем опрокинуть давящий их современный строй рабочие совершенно не сомневаются. О рабочих я говорю, как о самом организованном классе, программа и тактика которого выявляется ясно в резолюциях, в речах, но не менее важны другие неорганизованные, проникающие всю толщу социального строя, те, о которых, вопреки социализму, не скажешь, пролетарий или буржуа, а только «живется людям плохо». Все они доведены существующими несправедливостями до крайнего озлобления. Таким образом, между находящимися вверху и внизу социального строя ныне глубокая, непримиримая программная рознь, как между двумя лагерями готовыми к бою и уж даже начавшими его пока отдельными стычками. То, чему в одном молятся, ненавистно в другом. Так и новая Россия одним дорога, другим ненавистна. Не подлежит сомнению, что от социальной революции Россия может только выиграть, ибо тогда у власти всюду встанут симпатизирующие ей элементы. В начатом ею народном движении Россия имеет уже и легко может сохранить руководящую роль.

Поставим же точки над и. Неужели для России, как государства, не явно выгодно всякое усиление Советской власти, всякое признание ее представляющими враждебный ей строй правительствами, уже потому, что это усиле-

ние, это признание происходят всегда под давлением симпатизирующих ей классов, знаменуют их усиление, их невольное признание правящими классами? Всемирная революция была бы самою выгодною для России конъюнктурою, всемирная реакция — самою для нее тяжелою. Словом, ставка должна быть, в интересах России, сделана как раз обратно тому, на что ставит наша эмиграция. На красное, а не на черное. Но ее ставка была бы понятна, если бы она могла ожидать какого-нибудь выигрыша, если бы те правительства, перед которыми она так унижается, давали кое-что и России и ей. Но здесь уже не может быть даже возвышающего обмана. Низкие истины очевидны. Где вы, времена, когда атаман Краснов расклеивал по всему югу афиши, что наши доблестные союзники пришлют не позже весны армию и флот, что надо продержаться еще два, три месяца? Уныло смотрели с Новороссийских заборов пожелтелые обрывки этих афиш на стоявших в хвосте за визами беженцев. Обманули афиши — не состоялось представление. И теперь, по каким только передним Европы и Америки не клянчат «русские патриоты», продолжающие без права говорить от имени России, каким унижениям не подвергают русское имя! Нельзя, в самом деле, представить себе ничего унизительнее, хотя бы Женевских хлопот, чтобы русским беженцам дали в Вольтеры какого-нибудь иноземного фельдфебеля: до такой просьбы о назначении начальства не доходила никогда ни одна эмиграция, а, ведь, скольким бывало тяжело, например, полякам. В итоге недавно в одной дружественной державе полицейские извинились перед избитым туристом: избили потому, что думали, что русский. Дальше идти некуда. Не помогают напоминания: «Ведь мы ваши, союзники, мы за вас кровь проливали и мы скоро поправимся, так только небольшая заминка вышла, а тогда отблагодарим вас, отдадим вам все долги, концессии». Никто и слушать не хочет, а если бы и захотел, то не может: сочувствие народных масс Советской России всюду слишком сильно и никому не охота посылать потом своих матросов на каторгу за Одесский бунт, или возиться с нежелающими грузить снаряды рабочими. Когда недавно Советская власть хотела реализовать в Германии некоторые сделанные Врангелем заказы, то немецкие рабочие предупредили русских делегатов: «Не берите. Мы знали, что это для Врангеля и приняли свои меры: все развалится через неделю». Вот международная солидарность — здесь одинаковы английские, французские, немецкие рабочие, здесь одинаковы приемлющие и неприемлющие Московскую диктатуру: все готовы защитить, все не

выдадут. Так будем-же реальными политиками, поймем, с кем нам по пути, тем более, что сами правительства во всех странах все более вмещают в себе социалистические элементы и к Советской власти, как к реальной величине, относятся гораздо лучше, чем к эмиграции, вынужденной по адресу всех наций поочередно грозиться: — «Россия не простит!»

Горький опыт показал, таким образом, до чего доводит такая политика. Разве не она помогла англичанам все вывезти из России от Архангельска до Туркестана, всюду, где они «помогли» белой армии? Черчилль в одной из своих речей указал, что Англия поставляет Добровольческой армии за полную стоимость такое военное снаряжение, которое в другие руки продается всего за три процента — девяносто семь процентов переплачивали! Уплата производилась вывозом всего решительно: пшеницы, ржи, леса с севера, хлопка из Туркестана, нефти из Баку, стоившей в Лондоне тогда дешевле, чем в довоенное время! Все вывозили, все брали.

Тут не поможешь злобою против них, воплями «Англия наш враг». Если-бы английский министр защищал интересы не Англии, а России, он заслуживал-бы свержения. Историческая тактика «коварного Альбиона» известна. Она доставила ему могущество и он от нее не отступит. Его надо брать таким, каков он есть. Таким образом, дело здесь не в английских, а в русских вождях. Неумение всех белых вождей, по всей занятой ими громадной территории, оградить русское достояние и, более того, русское достоинство, дает и на будущее, которое бы ожидало Россию в случае их власти, самый мрачный прогноз. Ведь тогда Россия стала-бы еще более слабой, еще более нуждалась-бы в иноземной «помощи».

Сопоставьте с этим отношение к Англии Советской власти, как она ограждала честь и достоинство России, как привела Англию к достойному России тону. Она тоже заключила с Англией договор, но как равная с равною. Такие-же договоры заключены почти со всеми европейскими большими державами за исключением Франции, но в Черное море одними из первых прибыли с товарами именно французские пароходы. Таким образом, именно Советская власть, как ни мешали ей, достигла для России реальных выгод и упрочила ее международное положение.

«Россия отсутствует» — вот та, совершенно несоответствующая действительности формула, которая составляет предмет стонов и жалоб признающих лишь какую-то будто-бы будущую, мифическую Россию и отвергающих, как пу-

стое место, настоящую Россию, потому что она им не нравится. Россия и не думает отсутствовать — она давит всею своею мощью даже там, где повидимому, отсутствует, например, на Силезский вопрос. Когда нам скажут то, чего мы не хотим, куда как верится неохотно. Этим только об'ясняется величественная, но не выстоявшая долго тактика незамечания России западными державами. Было установлено, как признак хорошего тона, считать, что Россия с начала Советской власти провалилась и на ее месте одна дыра осталась. Клемансо заявил, что решение русского вопроса имеет второстепенное значение. И все вопросы решались без участия России. Тщетно Кашен в палате депутатов предупреждал: «Можете-ли вы претендовать на установление статута международного мира, не посоветовавшись с Россией? Можете-ли вы претендовать на установление европейского мира, оставляя вне его народ в полтораста миллионов? Можете-ли вы претендовать на урегулирование вопросов о проливах и о ближней Азии без мнения России?» Казалось-бы, неотразимые истины, даже азбучные по своей простоте, но на них просто не обратили внимания только оттого, что так принято, когда говорит коммунист. От этого, разумеется, пострадали сами, как человек, не желающий считаться с каким-нибудь твердым телом на своем пути. Например, собрали Лондонскую конференцию, где Франция честь честью заключила договор с Ангорским правительством. И вдруг, оказывается, оно не ратифицирует этого договора, предпочитая Франции союз с Россией. С другой стороны, Англия поддерживает Грецию, расчитывая, как на противника, лишь на Турцию и совершенно не считаясь с тем, что Россия может оказать Турции весьма существенную помощь. В результате биты обе противуположных ставки — и на Турцию, и на Грецию. К царьградским вратам можно придти мирно, или с боем. В начале 1920 года вся печать Антанты третировала Кемаль-Пашу просто как разбойника, и Греции, как честь и удовольствие, был дан мандат легко покончить с этим разбойником простою карательною экспедицией. Россия появилась рядом с ним. В результате в январе 1921 г. министры гордой Антанты уже заседают с «разбойником» за зеленым столом и делают ему важные уступки. А еще через два месяца, благодаря все усиливающейся помощи России, бывший разбойник уже ставит им «чрезмерные условия», и отвергает протянутую ему руку. Россия без всякого империализма *мирно осуществляет вековые задачи своей политики*. Турция из векового врага превращена ею в друга, и какого горячего, какого верного друга. Смотря на Антанту, как на свою поработительницу, турки

видят в России свою освободительницу. Так, накануне разрешения теперь для России неразрешимый вопрос о Константинополе и проливах, так, сами готовы распахнуться перед нею Царьградские врата. Но их, как всегда, ревниво сторожит Англия. Здесь весь ее несокрушимый мощный флот, все ее страшные силы. Россия разорвала с губительною политикою, в которую вовлекли ее невольные русские марионетки в руках умного Бьюкенена. Россия твердо знает теперь, где ей с Англией по пути и где нет и, в то время, как Англия ведет английскую политику ,Россия ведет теперь русскую, влияет на Англию вполне реальными возможностями. В международной политике считаются лишь с тем, кто может наделать неприятностей, или, еще лучше, катастрофу. Одною из лучших шахматных комбинаций Ленина было опереться на Азию. Осуществлено единение с Бухарою, с Афганистаном. Попутно ведется и ожесточенная, склоняющаяся в пользу России борьба за влияние в Персии. Лорд Керзон в своей речи с огорчением признал, что вековая политика Англии в Персии рухнула, что Персия в руках большевиков. Она предпочла соглашение с Россиею соглашению с Англией. Турция, Персия, Бухара, Афганистан — это путь в Индию. Опять не империалистическое, мирное завоевание. Пусть английский флот сторожит проливы — дипломатическою, безкровною победою Россия зашла ему в глубокий тыл, осуществляет и здесь веками неосуществимое задание, о котором мечтали Потемкин и, в союзе с Александром I, Наполеон. Уже Магомет-Али, индусский вождь, обещает: «Мы устроим революцию, какой мир не видал» и его, по азиатски неторопливые, многомиллионные сторонники готовят ее, не растрачивая сил. Но там и тут подпочвенный огонь все-же уже прорывается в отдельных вспышках. Уже Индия, раба Англии, парий, говорит своей метрополии: «Мы требуем!» и та слушает, вместо прежних ударов бича. Еще ярче прорывается пламя в Египте. Конгресс представителей цветных рас, собравшийся в Америке, принимает резолюцию, отвергающую право белой расы руководить ими, клеймящую варварские способы этого руководства. Шевелится Китай. Одна Япония, союзница Англии, из всей Азии идет против России и русские патриоты в Париже радуются захвату ею Владивостока. Этот своеобразный патриотизм вводит нас в самый центр спора.По какому парадоксу истории, в самом деле, интернационалисты делают дело патриотов, защищают Россию, а патриоты делают дело интернационалистов, желают, что-бы пришли англичане, поляки, японцы, как выражаются в современном культурном стиле «чорт, дьявол», лишь

бы свергнуть ненавистных большевиков? Так, Пасманик заявил, что для борьбы против большевиков готов продать душу черту. Этого черта, к великому счастью России, не удается вызвать, но вызвав, нельзя было-бы уже заклясть, как гетевскому ученику колдуна. Интервенция дала уже, как мы видели, страшные плоды. Потом они были-бы неисчислимо страшнее. Россия превратилась бы в колонию, в свалку плохо лежащих богатств, которых не в силах были-бы защитить вернувшиеся чудом из-заграницы в Россию к власти обанкротившиеся правители. Но это не грозный даже сон. Россия жива.

Здесь центр спора, здесь тот «домик паромщика», из за которого месяцами ожесточенно бились великие армии. Это — позиция проф. Устрялова. Это — призыв Брусилова к русским офицерам. Это — русские настоящие патриоты, честности и испытанной любви к России, которых не могут отрицать и противники, это они, число которых все возрастает, мнение которых все более проникает в массу, говорят: «Пусть у власти интернационалисты, но они же явно творят национальное дело!»

Поляки в 1920 г. захватили Киев. Это не было актом борьбы с большевиками, как они потом, когда им пришлось плохо, пытались уверить. Если-бы они хотели бороться с большевиками, они-бы поддержали наступление Деникина, а не начали бы своего наступления, сознательно допустив гибель Добровольческой армии. Не борьбою с большевиками был лозунг о границах 1772 г. Не борьбою с большевиками было руссофобство Пильсудского, всех польских чиновников, всей польской печати; в Польше был против русских взят такой-же тон, какой берется при начале всякой войны против врага. Бредовские офицеры и солдаты были заключены в концентрационный лагерь, несмотря на их предложения бороться против большевиков. Русские по всей Польше изгонялись, подвергались самому унизительному обращению. Фактами этого рода переполнена печать того времени. В оффициальных речах, во всей польской печати говорилось, что в интересах Польши необходимо ослабить и расчленить Россию, для чего был создан и союз с Петлюрой о выделении Украины — в тех границах, какие пожелает оставить ей Польша. Что война была против России, не против большевиков, было ясно из этих открыто провозглашенных ее целей — не на Москву и Петроград собирались идти поляки, не свергать Советскую власть, а захватить часть русской территории. Как известно, этот захват и был выполнен Рижским миром, с оставлением Советской власти в полнейшем покое. Так, Россия была поста-

влена лицом к лицу с Польшею, ненавидящею ее понятною ненавистью за вековое рабство, воскресшего со всею прежнею своей политикою использования русской смуты, с завоевательными стремлениями Стефана Батория. Польша не изменилась—встала из гроба с прежним своим характером, только еще озлобленная за пережитые страдания и ее вождем, ее кумиром был поставлен тот, кто собирал польские легионы, бившиеся против России в немецких рядах, кто наиболее ненавидел Россию.

Тогда раздался патриотический призыв Брусилова: «Защищайте Россию!» И тогда-же Врангель ударил в тыл защищавшей русскую землю Красной армии!

Не теперь только, не после событий, не после Немезиды, выбросившей сделавших это из Крыма в Галлиполийский тартар, я говорю об этой тяжелой ошибке. В июле 1920 г. на, состоявшем почти всецело из генералов и сановников, с'езде беженских представителей в Белграде, я один отказался присоединиться к предложению г. Палеолога послать генералу Врангелю приветственную телеграмму и, затем, в возникшем по этому поводу с г. Палеологом об'яснении говорил ему, что Врангель совершает величайшую историческую ошибку, что единственной его патриотической позицией было бы заявить, что перед внешним врагом прекращаются внутренние междоусобия, перед внешнею войною — война гражданская. Если Врангель не мог привести свою армию на призыв Брусилова, создав святой и великий «русский праздник» (выражение проф. Устрялова) примирения, то должен был по крайней мере заявить, что ни один выстрел из Крыма не потревожит Красную армию, пока она не справится с напавшим на Россию врагом. Этою благородною позициею генерал Врангель дал бы бессмертный пример патриотизма, на который ссылались-бы в будущих поколениях при так часто возникающем конфликте внутренней политической розни с общею защитою отечества. И сколько крови-бы не было безполезно пролито! Как умирилась-бы излишняя вражда, как все-бы почувствовали, что они всетаки русские люди, братья, несмотря на всю междоусобицу! Но, конечно, сделав это, бывшие правящие классы России именно доказали-бы, что достойны ею править, что им место в Москве, а не в Константинополе, что они способны отрешиться от своих интересов. Такого чуда произойти не могло: эти интересы задавили Врангеля, как его предшественников. Моя беседа с г. Палеологом закончилась его ответом на предупреждения о неминуемой катастрофе: «Знаете, если-бы все думали как вы, то осталось-бы броситься вниз головою в Дунай.»

И вот все кинулись в Польшу, как в землю обетованную. Врангель послал туда своих эмиссаров, ничего не добившихся. Нельзя даже упрекать поляков, что они его предали своим миром — ведь они ему не обещали ничего, от него сторонились, как от Деникина. Вольно-же было ему все-таки лить на их мельницу не воду — русскую кровь. Затем потянулись караваны паломников: Бурцев, Родичев, Философов, Мережковский, Гиппиус, Савинков — всех и не счесть. Пильсудский был об'явлен избранником Бога, в его чертах усмотрено нечто мистическое, но счастье улыбнулось русскому оружию. Поляки откатились до стен Варшавы. Как быстро были убраны тогда все империалистические лозунги! Не отзвучало еще эхо правительственных речей, не порвались газеты с недавними статьями, Польша башмаков еще не износила, в которых вошла в Киев, как стала клясться, что она совсем не против России — только против большевиков, что она — барьер всему миру от большевистской опасности и поэтому умоляет весь мир о помощи. И Родичев со слезою подтверждал, — «Видите! Видите! Они сами говорят, что они не против России, только против большевиков». Ну, конечно, как же не верить, раз сами говорят. Все перья эмигрировавших журналистов были направлены на эту перекраску, на представление общественному мнению всего мира русско-польского конфликта в самом выгодном для Польши и невыгодном для России свете, хоть Россия была совершенно права, не позволила себе относительно Польши ни одного агрессивного шага. Бурцев воззвал: «Спасите Польшу!». И Польше помогли. Одни рабочие старались, как всегда, помочь России в Тулоне и Данциге, но что могли они одни? Соединенными усилиями Врангелевской армии и русских публицистов удалось добиться хороших результатов: не только была спасена Варшава, но Польше еще удалось захватить Рижским миром кусок русской территории.

Тогда дружным хором те же публицисты набросились на большевиков: как они смели заключить такой невыгодный для России мир? Вот уж подлинно с больной головы да на здоровую — собственное тяжкое преступление перед родиною переброшено в противный лагерь, как мячик! Кто же виноват в захвате врагом русской земли: те ли, кто помогал ему в Варшаве, или те, кто осаждал Варшаву, кто кровью своею полил русскую землю и этим отстоял значительную ее часть — не будь советской обороны, ведь поляки остались бы в Киеве, а самостийная Украина была бы отдана Петлюре. К чести всего русского офицерства я должен сказать, что кампания публицистов не удалась. Уж на

что крайняя правая часть его сосредоточилась в Сербии, на что там высоко стоял авторитет Врангеля, но когда к Варшаве стали подступать русские войска, то среди этого офицерства, среди рядовой беженской массы, далекой от с'ездов и политики, можно было видеть, как любовь к родине берет верх над ненавистью к большевикам, как бьются русские сердца от сознания: — «Это он! Это все тот же русский солдат! Он опять побеждает!». День взятия Варшавы был бы для большинства русским днем торжества — просто, без рассуждений, потому что русские одержали блестящую победу. Но Врангель и Бурцев сделали свое дело — и вновь исчезло проглянувшее солнце в на миг начавшем рассеиваться кровавом тумане русской вражды.

Нечего повторять давно указанные факты воссоединения Советскою властью отторгнутых частей России, начиная с Украины и кончая Грузией. В Кремле всякий интернационалист станет государственником: нельзя, управляя страною, не охранять ее.

Для этой охраны создана трехмиллионная армия. Я глубоко благодарен военным специалистам «Общего Дела», которые своими содержательными статьями помогли мне разобраться в положении России, блестяще доказали, как безрассудно было бы свергнуть власть, сумевшую так поставить военное дело, создать такую дисциплину, привлечь столько прежних специалистов. Белые армии, куда охотно шли офицеры и не шли крестьяне, где всегда, несмотря на кровавые мобилизации, было слишком мало солдат, показывают, что будущее правительство было бы не в состоянии справиться с этою задачею. Большевики довершили разложение царской армии, расклеванной до приезда Ленина и Троцкого новым «демократическим» двуглавым орлом — Временным Правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов. Но большевики сумели и воссоздать армию. Свержение их, разумеется, связано с ее разрушением, но надежда на ее воссоздание крайне сомнительна. Что же, производить над Россиею второй опыт разрушения ее армии? Но милые заграничным патриотам соседки России, Япония и Польша ждать конца опыта не станут и захватят не только Киев и Владивосток. Да вообще, все возьмут, что смогут. Россия, как всякое государство, опирается на свою армию и даже временно без нее остаться не может. Нечего смотреть назад, на отношение большевиков к прежней армии, вперед надо смотреть. А то красные разложили армию, потому что она была белая, а теперь бе-

лые разложат ее, потому что она красная. А что станется тем временем с Россиею?

По статьям белых специалистов, Красная армия далеко не плоха. Она доказала это многими упорными кампаниями и боями, например, в ледяной воде, у взятого в три дня неприступного Перекопа. Каковы бы ни были ошибки ее противников, облегчившие ей ее победы, тем не менее, если бы она не была боеспособна, с нею легко-бы справились: Деникин был бы в Москве и Пильсудский в Киеве Недооценивать Красную армию уже нельзя. И кичливые уверения, что довольно одной регулярной дивизии, чтобы гнать ее, той же пробы ,как уверения о скором падении Советской власти. Но если армия плоха, надо помогать сделать ее лучше: вот и все. Здесь, как всюду, нужна работа интеллигенции и именно потому, что в военной сфере такая работа была, и получились, во всяком случае, блестящие результаты. Судьи поголовно ушли из суда и суд, действительно, очень плох. Офицеры же работали над восстановлением армии, и оно удалось. Если бы интеллигенция работала с Советскою властью в других сферах, были бы такие же результаты — и, главное, давно не было бы террора, да никогда он не принял бы таких ужасных форм без гражданской войны. Россия страдает от междуусобий с удельно-вечевого периода. Во всяком случае даже непримиримые сторонники «войны до победного конца» должны же согласиться, что есть операции, оправдываемые лишь успехом. Когда взрывали поездные составы, мосты через реки, разрушали целые русские города русскими руками, а иностранными торпедами русский флот, жгли хлебные запасы, топили несчастных кавалерийских лошадей в Новороссийской бухте, по всей России прошли огнем и мечем, положили гораздо больше народу, чем всякий террор, то это можно было разумно делать, лишь зная ,что цель будет достигнута. Если победителей не судят, то побежденных судят очень сурово. По ходячему в народе выражению, столько спасли, что скоро нечего будет спасать. Гражданская война изнурительнее для государства всякой другой. Великое счастье для России, что она кончилась — пусть даже не победою той стороны, которой симпатизируете вы: неужели весь этот погром России надо опять начинать с начала? Но это могло бы быть оправдано (если могло!) лишь твердым, реальным расчетом на успех, только тогда это было бы разумным хоть для известного лагеря политическим актом, основанным на море русской крови, но где же такой расчет? Отчего результаты опять не будут прежние?

Да, проиграть войну очень тяжело — и войну гражданскую еще тяжелее, так как она ведется за обладание отечеством. Но если война проиграна, то проиграна. Поняли же это умные немцы. Или в русском эмигрантском лагере нет совсем больше здравого смысла, а только одна истерика, одно бесплодное упрямство? Если война проиграна, надо уметь заключить мир. От обратного пострадают не победители — побежденные. Победителям часто выгодно, когда длится бессильная война. Лишь близорукость непримиримых характеризуется тем, что нужен был им Крым, чтобы прозреть. Теперь они — прозрели. Теперь с отчаянием в душе, они пытаются декламировать на прежние темы. Иного от них и ждать нечего: нельзя требовать от людей самоубийства — нравственного, еще менее, чем физического. Но это — вопрос их личных ощущений. Реальная-же политика — мир после войны. Иначе впрямь, получится война до победного конца — Советской власти над эмиграцией, до конца эмиграции... Вот до чего почти уже довели. Еще осталось немного времени для мира, но, конечно, будет упущено и оно. А после окончательного распада эмиграции, Советской власти и мириться будет не с кем. Будут лишь отдельные люди, а не, хоть разбитые, кадры русской интеллигенции, пока еще могущей ставить хоть некоторые условия мира. Он нужен ей — не России. Россия уже справилась.

Какое счастье для нее, что все это — академические рассуждения, что гражданская война безповоротно окончена, что белой армии больше нет и что, разумеется, без территории не может быть восстановлена никакая армия. Таким образом, все толки о вооруженной борьбе остаются лишь в статьях и речах, а это — оружие неопасное. Итак, вооруженная борьба, во-первых, вообще не может быть начата, во-вторых, не может быть приведена к победному концу и в третьих, этот победный конец был бы величайшим несчастием для России, уничтожил бы ее армию и поверг бы ее в анархию, с которою бы не могло справиться поневоле слабое правительство, «парализуемое» всеми партийными противниками. Это было бы параличем России. Вот когда бы она действительно стала безхозяйною землею для колонизации. Она бы погибла, как Тир и Сидон. Теперь же она опирается на всю Азию — это очень мощная опора. Еще мощнее поддержка ее народными массами всех даже враждебных ей оффициально государств. Эти массы давят на свои правительства. В результате — повсеместные договоры с Советскою властью и уже не за горами ее признание. Ведь власть признают не потому, что она симпатична

признающему, а просто потому, что она власть. Это просто признание существования. Как же можно не признавать Советской власти, когда она существует? Ее признает всякий публицист, когда пишет слова: «советская власть» хотя бы потом добавлял на своем обычном жаргоне бесчисленные против нее ругательства. Любопытная форма компромисса с неотразимою действительностью — небывалая юридическая ересь: бессмысленное отличие признания de facto от признания de jure. Признают, или не признают, а трехмиллионной армии все-таки нет ни у одного европейского государства. Этого уж не признать нельзя. Опирается на эту армию, на международные массы низших классов и на Азию, Россия начинает новый период своей истории. Будущее покажет, можно-ли побить эти козыри, или ими будет выиграна международная игра, но вырвать их из рук России было бы со стороны русских патриотов политическим безумием. Граф Шамбор после франко-прусской войны отказался от предложенного ему французского престола потому, что ему было поставлено условием сохранение трехцветного знамени, введенного ненавистными ему красными вместо белого знамени монархии, восстановления которого он требовал. Едва ли граф Шамбор придерживался разумной политики. Теперь Россия собирается под красным знаменем и нельзя этому препятствовать, настаивая на трехцветном.

С того момента, как определилось, что Советская власть сохранила Россию — Советская власть оправдана, как бы основательны ни были отдельные против нее обвинения. Я совершенно не понимаю, как говоря о «рабстве» под нею русского народа, можно уверять, что он желает именно того «демократического» строя, который не смог продержаться на Руси и года, никакою народною поддержкою не пользовался. Очевидно, здесь чаяния интеллигенции разошлись с народными чаяниями. И обратно, самый факт длительности Советской власти доказывает ее народный характер, историческую уместность ее диктатуры и суровости. Но именно для того, чтобы смягчить эту суровость, для действительной, реальной борьбы, с отрицательными сторонами Советской власти, необходим честный русский всеобщий мир. Надо же прекратить положение, где гражданская война оправдывается террором, а террор гражданской войною; надо же, как говорят дети, чтобы тот, кто умнее, перестал первый.

Пока же масса молчит, а за нее проводятся тактики в безвоздушном пространстве, вооруженная борьба без оружия, «чем хуже, тем лучше», интриги против каждою

договора, каждого торгового акта, совершаемого русским правительством, сочувствие блокаде России, гальванизация представительства умершей власти, помощь нападающим на Россию, отторгающим ее земли государствам извне помощь внутри анархии кровавою игрой в конспиративность и восстания, то вся эта монархическ., бурцевск., милюковск., эс'эровск. тактика, все вместе и каждая в отдельности, ведут без всякой для себя пользы к огромному вреду и для России и для эмиграции. Ударяя так по обеим, будто бы защищаемым величинам, разбивая их в кровь, по Советской власти ее противники попасть не могут, не причиняют ей никакого вреда, нимало не колеблют ее положения. И тогда, с досады, принимаются бить друг друга. Простой здравый смысл не позволяет на это равнодушно смотреть.

Оттого то вызывают такую тревогу в противном лагере наши немногочисленные пока голоса, оттого то звучит таким затаенным желанием вечная острота в ответ на серьезные доводы: «отчего вы не уедете в Россию»? Как было бы приятно нашим противникам, если бы мы оставили им чистое поле, но мы не признаем за ними монополии на Европу и ведем нашу работу по тому же праву, как они свою, потому что считаем ее необходимою для России, а для русской эмиграции — единственным выходом из создавшегося нестерпимого положения. Ведь ,избегая будто бы рабства в России, наша эмиграция стала несомненною рабою всякого, стоящего хоть на низших ступенях иноземной власти — солдата, бьющего ее на улицах Константинополя, надсмотрщика в африканской пустыне, любого, издевающегося над ее хлопотами о визах, наглеца в канцелярии. Свободна ли Европа или нет, но мы то в ней несвободны. И максимум личной свободы, на которой не основан ни европейский, ни советский государственный строй, русские получат лишь тогда, когда их правительство достигнет того же положения, станет так же сильным, как прежнее русское правительство.

Для защитников русской государственности, для патриотов вопрос весь в том, чем явилась для России Советская власть: цементом, склеивающим ее, заполняющим ее трещины, или раз'едающею ее кислотою. Вопреки проклятиям эмигрантской печати, все более становится очевидным: не кислота, — цемент. Не центробежная, анархическая сила, — центростремительная, государственная. А тогда можно многое вынести, многое простить — и к многому отнестись с терпением, веря в лучшее будущее. Здесь очень важно, что это будущее в крепких, сильных руках, а не в жалких руках тех деятелей, которые оказались так недо-

стойными власти и которые цепляются за нее без права, потому что для права на власть необходимо быть сильным. Не ново, что против сильной власти всегда раздается обвинение, что она держит население в рабстве, будто бы управляет им помимо его воли. Слаба власть — ее и обвинять ни в чем не стоит: просто она самоупраздняется, гибнет, оставаясь ли формально на месте, как Людовик XIII, или обрушиваясь в революционной буре, как Временное Правительство. Слабая власть не существует, поэтому народ всегда хочет твердой власти, — а в острые и бурные исторические эпохи она — вопрос существования страны. В настоящую эпоху она вопрос существования России. Но уж тогда дозировать твердость трудно, да и некогда и не до того совсем, — пусть деспотизм, пусть суровость, лишь бы вожжи не были выпущены из рук. Ведь это уж интеллигентская, отвлеченная требовательность: требовать от людей, находящихся у власти, как от какой-то машины, какого то циферблата весов, чтобы стрелка стояла на определенной цыфре — и если она отклонится в одну сторону, жаловаться на бедственную слабость власти, зато когда отклонится в другую — кричать о ее жестокости, о рабстве населения. В действительности ведь не пуста чашка весов — вся тяжесть жизненных условий эпохи лежит на ней и далеко передвигает стрелку. Весы были бы неверны, если бы стрелка оставалась на безразличной, средней зарубке. У русской государственности сейчас две трудные задачи — те, которые всегда стоят перед всякою государственностью: сдерживать натиск извне иноземных сил, сдерживать внутри натиск анархических, центробежных сил. Спрвляется ли власть с этими задачами? Справляется. Значит, она—настоящая государственная власть. Поддерживают ли ее противники эти обе антигосударственные силы? Поддерживают. Значит, они являются противниками русской государственности.

Вот на чем, в исторической перспективе, разрешается спор между Советской властью и ее противниками, а не на том, что обязанные быть твердыми и суровыми слишком тверды, слишком суровы. Такой порок ныне для русской власти — качество. On a les défauts de ses qualités — у каждого есть недостатки, даже пороки своих качеств. Энергичный властный правитель жесток, сгибает волю народа под свою волю, пренебрегает за делом возвышенными, иногда святыми словами. В своей тяжелой, черной работе он не позволяет себе даже нравственной роскоши быть чистым. Но когда на это нападают его противники, то надо иметь в виду, движет ли ими нравственный идеализм, или стре-

мление захватить власть и не готовы ли они также окровавить и запятнать свои, впрочем, уже окровавленные, уже запятнанные ризы.

Историческая перспектива уже становится возможна. Она то выясняет для все большей массы, русской и иностранной, вопрос о значении Советской власти. Теперь, при брезжущем уже свете нового дня видно, что непостижимая во мраке ее устойчивость об'ясняется просто тем, что она нужна для России, нужна для человечества. Заря разгорается медленно, но все трудящиеся, все обремененные уже видят на светлеющем небе ее лучи ,предрассветный ветерок уже пробегает по трепещущим листьям. Никто не стоял бы за то, чтобы эта заря была кровавой зарею, не стоял бы за социальную революцию, если бы правящие классы самоотверженно могли поступиться своими привиллегиями, святостью своего права собственности, хотя бы чтобы спасти его, спасти свое положение, хотя бы из разумного эгоизма, а не из любви к ближнему. Но своею косностью, корыстью и жестокостью они делают невозможным этот исход — и неизбежною социальную революцию. Когда она, происшедшая в России, захватит Европу — сравнительно не так важно; важно, что она идет и придет, что только слепые не видят осыпающихся слоев старого социального строя, только глухие не слышат ее подземных раскатов. Вся почва колеблется — нигде уже нет покоя. А какая дана Европе отсрочка, десять, двадцать пять или больше лет, конечно, важно для нас, смертных, но не для человечества. В его жизни — ничто жизнь одного поколения. А новое, воспитанное в суровой жизненной школе нашего переходного времени, будет куда реалистичнее и тверже нас — не будет уже верить в то, во что мы верили. Мы видели зарю и смежали даже от ее света привыкшие к мраку глаза. Оно увидит солнце. Но не утешайтесь — «передышка», может быть, и не так велика; слишком делается все, чтобы истощить долготерпение судьбы. Рост коммунизма тому яркий симптом — кто думал о коммунистах несколько лет тому назад, кто мог ждать такого общественного сдвига, при котором прежние социалисты окажутся в правом центре любого народа и лозунги их отсталыми? Совершенно независимо от своей концепции будущего социального строя, коммунисты являются знаменосцами будущей жизни, трубачами об'явленной социальной борьбы. За это их ненавидят, за это любят. За это ненавидят и любят Россию, ставшую во главе того лагеря, которому суждена победа, ибо он — будущее, а оффициальная Европа — прошлое. И с Востока вновь сияет свет Русский народ «в рабском виде», в муках неисчислимых

страданий несет своим измученным братьям всемирные идеалы — и за них любим, ими обновлен и чист во всей бездне своего падения, ими, в своем унижении, могуч.

Здесь не помогут никакие, выстроенные хитроумными политиками, барьеры и корридоры, выточенные, как подстриженный сад с клумбами и дорожками, на живом теле Европы. Нет барьера для идеи. Ее огонь уничтожает все препятствия. Но, конечно, как нет великого человека для своего камердинера, так для современников нет великой революции. Они видят ее слишком вблизи, видят лишь очень серьезные, очень важные вещи: разрушение культурных ценностей, кровавую, мученическую гибель часто безвинных жертв, голод, холод, эпидемии, разруху — и всю муть, такую нечистую и отвратительную, которую всегда подымает на поверхность буря. Но значение происходящего для них недоступно, не видно рождения в пламени высших ценностей, не видно, что величайшими преступниками, в исторической перспективе, могут быть не только невинные, скромные, заурядные обыватели, но даже герои, если они тормозят освобождение угнетенных, делают болезненным и медленным неизбежный исторический процесс. И таким героям — дань уважения, и таким безвинно виновным — горькие слезы. Но любовь — одной грядущей жизни человечества, одной ей — новая вера.

А. В. Бобрищев-Пушкин.

В КАНОССУ!

I.

В событиях, которые пережила Россия за последние годы, важная роль выпала на долю интеллигенции. Несмотря на пережитые бури, тип русского интеллигента сохранился, и о нашей интеллигенции можно с полным правом говорить и впредь, как о каком то особом общественном явлении, имеющем определенную физиономию и определенное социальное назначение. Несмотря на партийные перегородки, разделявшие русскую интеллигенцию, можно, оказывается, говорить о едином ,общем настроении большей ее массы.

Во-первых, в начальный период революции подавляющее большинство нашей интеллигенции стояло на стороне Временного Правительства, чувствовало свою духовную связь с ним; затем, почти, так же всеобще, а может быть еще и шире, было отрицание интеллигенцией большевиков, ее недоверие к ним, к их идеологии, к возможности воплотить ее в жизнь. Оговоримся: конечные идеалы большевизма были всегда лучшими идеалами интеллигенции, но практическая возможность их немедленного и полного осуществления, выдвинутая большевиками, как политической партией, и главное — метод их насильственного проведения, были ей чужды, ненавистны. Этому не противоречит тот факт, что физически значительная часть нашей интеллигенции осталась в Советской России, а некоторая ее часть с самого начала работает у большевиков, с большевиками, «на них». Но разве мы не знаем все, как эта работа шла до сих пор, чем она большею частью стимулировалась? Голод и принуждение — вот эти стимулы. Разве таково было бы положение Советского правительства, если бы мозг

страны — ее интеллигенция — сознавала свою кровную связь с ним, еслибы она несла ему все свои силы, весь энтузиазм и воодушевление, на которые способна?

Далее вспомним, что интеллигенция в своей массе становилась на сторону всех анти-большевистских военных попыток — активно в территориях, где эта борьба происходила, — сочувствуя и вздыхая там, далеко, вглуби самой России.

Словом, общность переживаний массы русской интеллигенции в потрясших страну событиях не подлежит сомнению. Если же последить за историей развития этих переживаний, то в них возможно уловить и зафиксировать три фазиса или этапа, которые прошла эволюция настроений интеллигенции. Эти три этапа я назвал бы *тремя разочарованиями*. Это были три последовательные ставки русской интеллигенции и три ее проигрыша. Мы не будем разбирать сейчас причины этих проигрышей, но попробуем их отметить и определить.

Первой ставкой была вера интеллигенции в какой то совершенно особенный, точно инстинктивный практический смысл и разум русского народа. Это был отголосок старого преклонения перед «мужиком» нашего народничества шестидесятых — семидесятых годов. Без достаточных данных, точно по какому то наитию думали, скорее даже верили, что «народ» сам найдет правильную линию государственного строительства. Надо только сбросить, сорвать с него цепи, дать ему возможность полного размаха и безграничной свободы. Более того, были и такие теоретики, которые сами всячески стремились научиться у него государственной мудрости. Здесь сказались, между прочим, типичные черточки русского характера — нелюбовь к конкретному и определенному,—неуменье расчитывать, заканчивающиеся верой в классические русские «авось», «небось» и «как-нибудь». Поэтому то недостаточно действовали задерживающие центры в период развития революционной грозы в момент наиболее критического положения страны — во время войны. Недостаточно серьезно смотрела наша общественность на проповедь Циммервальда и Кинталя. Несерьезно отнеслась она и к партийным распрям, к слабости Временного Правительства, к раскатам нового революционного грома осенью 1917 года. Ничто не казалось трагичным. — «Здоровый инстинкт народа все вывезет, все устроит» — таков был лейтмотив в глубине души русского интеллигента. Истерические выкрики Керенского? — отчего бы их и не послушать, будто и вправду немножко мо-

роз по коже подирает, — потом выйдем из театра и — «ах, как все хорошо на свете, все к лучшему!».

Только таким отношением к событиям можно об'яснить ту поразительную беспечность, которая, казалось, проявлялась тем сильнее, чем грознее сгущались тучи. Весна и лето революционного и все еще военного года — а между тем разве думали в интеллигентских кругах, что необходимо сократиться, что надо урезать свою потребность в удовольствиях, что надо поступиться своими удобствами? Так же, как и всегда, — нет, более, чем всегда, — все стремились на дачи, к морю и на курорты. Туалеты сверкали, кинематографы и театры брались с бою. Балы-митинги и концерты-митинги процветали...

И вот, с громом октябрьской революции пришло отрезвление, пришло первое разочарование — интеллигент увидел, что он был неправ, что не из чего было заключать о том, что народ, забитый и темный, благодаря действиям старой, преступной власти, каким то сверх'естественным чутьем справится с труднейшими социальными задачами и сразу найдет легкие и мирные пути прогресса... Необоснованные ожидания сменило разочарование, смешанное нередко с озлоблением на этот же самый народ, в который до сих пор верили — при всей отчужденности от него — ради которого жертвовали жизнью, на который молились... И только медленно, постепенно это чувство стало уступать место более спокойному и справедливому рассуждению, что винить народ нельзя, что корень всех зол приходится искать в самих себе — в своем ошибочном отношении к русской действительности, в искаженных масштабах. Началась переоценка ценностей.

Между тем, жизнь шла, события развертывались с головокружительной быстротой, надо было действовать, т. е. становиться в тот или иной лагерь в начинавшейся гражданской войне. И интеллигенция, не колеблясь, пошла под белые знамена. Это была ее вторая ставка. Она поверила в вождей антибольшевистских сил. Она не разбиралась в них, в их «верую», в их способностях, она готова была идти с кем угодно, лишь бы освободиться от «кучки насильников». О будущем думали так: «все приложится». Более левых не пугали погоны Добровольческой армии и пересолы при возврате к необходимой в борьбе дисциплине. Более правых не страшил «демократизм Корнилова» и лозунг «вся власть Учредительному Собранию». И эта вторая ставка нашей интеллигенции оказалась битой, и на смену явилось новое разочарование. Все попытки «генералов» выступить в роли освободителей страны терпели неизменно неудачу: не были

найдены верные лозунги и программы, не было должной организации, не было подходящих людей. И можно только удивляться долготерпению интеллигенции, при каждой новой попытке вновь воспрядывавшей духом, вновь начинавшей верить и надеяться, вновь шедшей на жертвы...

Третий фазис не так легко отделить от второго, как этот от первого. Хотя логически и психологически они диференцируются сравнительно легко, во времени они отчасти совпадают и переплетаются. Этот третий фазис настроений нашей интеллигенции характеризуется ставкой на союзников, на их интерес к нам, на сознание ими своего морального долга перед Россией за ее жертвы в первые годы войны. Эта вера диктовалась наивным сантиментализмом, отличавшим всегда русскую интеллигенцию в сфере политики. И как жестоко мы были наказаны за этот сантиментализм! Достаточно вспомнить Одессу, Архангельск, всю историю сношений с отделявшимися от нас (более того, нередко намеренно *отделяемыми* ими же — нашими союзниками) окраинами; достаточно вспомнить торопливость, с которой они спешили на мнимую русскую тризну, все эти разговоры о русских лесах, о нефти и т. д.; достаточно припомнить споры о русском золоте, о долгах, об открытых дверях в Сибири, чтобы окончательно и безвозвратно потерять всякую тень политического сантиментализма. — «Позвольте, скажут наши оппоненты, доселе остающиеся на позиции поддержки несуществующей уже белой армии — а поддержка союзниками Колчака, Деникина и Юденича?» Ах, эта полу-поддержка, когда одной рукой давалось, а другой создавались всякие затруднения. Лучше бы ее небыло совсем! Она поселила обманчивую надежду на помощь извне, так дорого нам обошедшуюся, когда, оказывается, можно было расчитывать только на самих себя. Это только спутало карты. Удивительно-ли, что вера в демократические и пацифистские цели войны, в международную солидарность рухнула во всех слоях русской интеллигенции, как среди эмигрантов, рассеянных по всем странам Европы, Азии и Америки, так и среди оставшейся в Советской России.

II.

Итак, военные попытки «свалить большевиков» не удались: заключительным аккордом в этом направлении был Кронштадт. Теперь совершенно ясно, что всякие подобные попытки обречены на неудачу; более того, они вырождаются в уродливые, морально-неприемлемые для русской интеллигенции погромно-предательские авантюры. Теперь логи-

чески мыслимыми остались лишь два случая насильственного низвержения Советской власти: иностранная военная экспедиция и внутреннее восстание. Попробуем разобрать обе возможности.

Мыслима-ли первая — военная экспедиция иностранцев? И чья именно? Бывших союзников? Но разве не показали они всей своей политикой, что их главная забота—приспособиться к факту отсутствия России в сонме великих держав? Англия, потрясаемая внутренней борьбой и связавшая себя договором с Советской властью ,при каждом удобном случае напоминает о своем лояльном отношении к договору. Франция, усердно поддерживающая врагов России и ведущая политику расчленения России, думает лишь о том, как бы вернуть следуемые ее мещанам миллиарды. Америка не желает более иметь никакого дела с европейским осиным гнездом. Германия, экономически остро заинтересованная в русских делах, при некоторых условиях могла бы, пожалуй, вмешаться. Но ей, раздавленной военно и экономически, не до военных походов в Россию; да и «союзники» никогда бы не допустили этого, ведь за такой помощью последовал бы опасный для них союз России с Германией. Лига Наций, — притча во языцех всего мира? Или, наконец, эти новые «буферные» государства, облепившие края нашей родины? — Польша, Латвия. Эстония, Азербейджан и т. д. Да, к сожалению. они склонны порой давать приют разным «предприимчивым »людям. как это сделала Польша в отношении Савинкова и Балаховича, поскольку последние помогают поддерживать в России междуусобную войну, и расшатывают Россию политически и экономически. Но захотят-ли они создавать серьезную опасность для Советской власти, пока она слаба, и вообще выгодно-ли им содействовать ликвидации нашей гражданской смуты? Разве в момент успехов Деникина поляки не заключили внезапного перемирия с большевиками, чем и дали последним возможность всей массой обрушиться на Деникина и раздавить его? Это только мы сами, русские, в лице Врангеля, могли в момент, когда красная армия громила поляков, ударить ей в тыл и, спасая Польшу, предать свое собственное русское дело. История уже отомстила Врангелю за его близорукость.

Итак, ни одна из внешних сил никогда не даст уже «военной помощи против большевиков». Да и кому ее давать теперь? Как ни как, но в течение всей прежней военной борьбы с большевиками были какие то, хоть и небольшие клочки русской территории, откуда эта борьба могла идти, где она могла организоваться, — было известное ко-

личество сил и средств, которое можно было увеличивать при успехе. А главное, был какой то моральный резерв, связанный с этим клочком национальной территории. Теперь этого нет. После опыта Врангеля в Галлиполи мы знаем ,что создавать или хотя бы сохранять русские военные антибольшевистские силы за пределами самой России—химера.

Никто, значит, извне не поможет. да и помогать-то, оказывается, уже некому.

Теперь о возможности восстаний в самой России. Эта возможность, конечно, не исключена. Она наиболее реальна. в случае выдвигания лозунгов, подобных кронштадтским, хотя надо оговориться, что шансы на успех здесь, как особенно ясно показал даже пример кронштадтского восстания, ограничены и, очевидно, прогрессивно уменьшаются. Восстания в России могут являться лишь функцией двух связанных между собою моментов: экономических затруднений и политики Советского правительства. Чем хуже экономическое положение страны, чем сильнее лишения, которым подвергается население, тем труднее, конечно, положение Правительства. Но, во-первых, с прекращением гражданской войны, со снятием блокады и заключением торговых договоров с Англией, Германией, Италией и др., экономическое положение Советской России способно значительно улучшиться, а во-вторых, Советское правительство, применяясь к условиям, отказалось от целого ряда своих экономически неосуществимых тезисов и идет в сторону облегчения торгово-хозяйственного оборота в стране. Нет никакого сомнения, что эти меры значительно укрепят его положение и сделают попытки восстаний менее частыми, менее серьезными и лишат их шансов на успех.

Спрашивается, как вести себя интеллигенции, как находящейся в России, так и эмигрировавшей, при этих новых, все еще возможных попытках восстаний? Способствовать им или отстраняться от них, более того, бороться с ними? Не колеблясь, подобно тому, как по отношению к предыдущему периоду мы считали, что вся энергия русской интеллигенции должна быть брошена в дело борьбы с большевизмом, так теперь, после окончательного крушения планов его насильственного низвержения, мы считаем, что *патриотический долг нашей интеллигенции—отказаться от вооруженной борьбы, более того, бороться со всякими попытками в целях борьбы еще дальше дезорганизовывать и разваливать нашу родину*. Кто бы ни был у власти сейчас, но раз он способствует процессу собирания и упрочения России, он должен получить поддержку со стороны мыслящей и патриотически настроенной интеллигенции.

Более того, участие в возможных восстаниях и волнениях в стране при сложившейся экономической и международной кон'юнктуре будет преступлением перед родиной. Мы не боимся открыто и громко это сказать. Никакие сомнения и колебания, никакие недоговоренности не должны иметь в этот момент места. Надо ясно себе представить, что всякая попытка вызвать неурядицы в России эквивалентна сейчас удару по долженствующей во что бы то ни стало наладиться экономической жизни страны и на руку одним только врагам России. Слишком много времени уже упущено, слишком усилилась реакция в Европе, слишком окрепли окраинные государства, чтобы в случае новых волнений можно было расчитывать на что либо иное, кроме выгодного лишь нашим врагам хаоса. Подобно тому, как более сознательная часть интеллигенции считала революцию во время войны опасной и нежелательной, так и теперь всякие новые потрясения будут для нашей родины лишь гибельны. Надо окрепнуть физически и экономически, надо — насколько возможно при данных условиях — укрепить национальный дух, а там — жизнь покажет. Окрепшему организму возможные потрясения не будут так опасны ,а может быть к тому времени условия настолько изменятся, что все обойдется и без потрясений.

Но представим себе даже, что, по какому-то невероятному сцеплению обстоятельств, восстание удалось, большевики свергнуты, и Россию не разобрали в этот момент по кускам соседи и бывшие друзья. Что ждет нас на следующий день после восстания? Чья власть? Кто сменит большевиков? Кто будет тот, кто сумеет при еще несомненно ухудшившихся экономических условиях, при вновь развалившейся армии, вывести страну из нового хаоса? Керенский? Кадеты, энесы, эсеры? Начнем сказку про белого бычка сначала? Все эти обломки ех-партий, которые и по сию пору, сидя давно заграницей не могут перестать грызться между собою на потеху всего мира? Нет, мы думаем, что громадное большинство не только русских народных масс, но и интеллигенции, и не только самой России, но и заграницей, навсегда оставило эти, влачащие ныне жалкое существование штабы без армий. Нет, все что угодно, но только не эти трупы!

Но допустим все же, что большевики свергнуты, что явилась какая-то новая власть. Эта новая власть силою вещей вынуждена будет делать почти то же, что и большевики: тоже нужна будет армия со строгой дисциплиной — иначе нас разорвут соседи; те-же драконы внутренней защиты новой власти — иначе она рассыпется, как Керен-

ский; неужели нам станет легче от того, что новые «чрезвычайки» будут называться «контр-разведкой», или чем нибудь вроде того? Та же будет экономическая разруха и связанные с нею лишения и голод, та же необходимость в максимальном напряжении сил всех и каждого, в жестокой трудовой повинности. Так в чем же дело? Пора оставить мечты ,что с заменой красных белыми, желтыми, зелеными и т. д. каким то чудом законы физики и экономики перевернутся, реки потекут в горы, а с неба будет литься золотой дождь. Вернемся к реальностям жизни.

Да, мы знаем, за нашими бывшими противниками в прошлом много ужасного, трудно прощаемого, много такого, с чем трудно примириться и сейчас; но как скоро интересы родины требуют, чтобы мы забыли старую боль, мы должны ее забыть. Другого выхода нет. Умыть руки, отойти в сторону. нельзя. Это, конечно, легче всего, но это преступление перед родиной. Надо участвовать в поддержке России, надо всем выручать ее, облегчать ей пути прогресса, мира и благосостояния. Поведение нашей интеллигенции в данный момент весьма сильно определяется общим международным положением. За годы борьбы мы были свидетелями разростания масштабов: сначала кризис ограничился Петроградом, затем он охватил собственно Россию, далее борьба разлилась и по окраинам ее, теперь весь мир вовлечен в русскую катастрофу и каждый элемент его занял определенную позицию в отношении ее.

Будь мы одни, не будь Россия окружена «друзьями» и врагами, конкуррентами и хищниками, алчно пощелкивающими зубами и жадно ждущими ее последнего вздоха, будь в мире солидарность культурных наций — мы, быть может, не звали бы к такому решению вопроса. Но сейчас, когда никто не хочет понять переживаемой нами трагедии, когда всякий старается забыть о море русской крови, пролитой ради общего европейского дела, когда нас сторонятся, как зачумленных, когда почти во всем мире нет более презираемых, более ненавидимых парней, чем мы, русские, сейчас, когда на нашу несчастную родину смотрят, как на какой-то очаг заразы, который, еслибы могли, то охотно стерли бы с лица земли со всеми нами, правыми и виноватыми, — о, сейчас в таких условиях, мы громко, не колеблясь, обращаемся к нашей интеллигенции с кличем: «Довольно! Назад! Мы здесь чужие. Что бы там, дома, ни было, как там ни тяжело, но там — наша родина!»

Мы не боимся теперь сказать: «Идем в Каноссу! Мы были неправы, мы ошиблись. Не побоимся же открыто и за себя и за других признать это».

Большевизм с его крайностями и ужасами — это болезнь, но вместе с тем это закономерное, хоть и неприятное, состояние нашей страны в процессе ее эволюции. И не только все прошлое России, но мы сами виноваты в том, что страна заболела. Болезни, может быть, могло и не быть, но теперь спорить и вздыхать поздно, родина больна, болезнь идет своим порядком, и мы, русская интеллигенция, мозг страны, не имеем права стать в сторону и ждать, чем кончится кризис: выздоровлением или смертью.

Наш долг — помочь лечить раны больной родины, любовно отнестись к ней, не считаться с ее приступами горячечного бреда. Ясно, что чем скорее интеллигенция возьмется за энергичную работу культурного и экономического восстановления России, тем скорее к больной вернутся все ее силы, исчезнет бред и тем легче завершится процесс обновления ее организма.

Мне скажут: «Но как же? идти к большевикам, идти с ними? Ведь это значит признать свою неправоту, санкционировать их победу?»—Да, это значит идти в Каноссу. Это признание не унизит нас, не может сломить нашего духа. Мы честно боролись до сих пор, так как считали,что это наш долг. События нам показали, что мы ошибались, что путь наш лежал в неверном направлении. И, сознав это, увидя, чего требуют от нас интересы родины, мы готовы сознаться в своей ошибке и изменить дорогу.

Станем ли мы сами от того большевиками или коммунистами, как думают некоторые? Конечно, нет. Коммунизм как практическая доктрина, в современной обстановке по прежнему остается для нас той же утопией, что и раньше, но он может и должен измениться ,если хочет так или иначе войти в реальную жизнь; и во многом мы, интеллигенция, можем способствовать этому процессу.

После каждой болезни в организме наблюдается появление новых сил,. усиленный обмен веществ, оздоровление и укрепление. Нередко в самой болезни есть зачатки оздоровления, есть полезные начала. И вот, не боясь, надо признать, что в самом большевизме, наряду с ворохом уродливых его проявлений, есть несомненно здоровые начала ,есть положительные стороны, отрицать которые трудно.

Во-первых, история заставила русскую «коммунистическую» республику, вопреки ее официальной догме, взять на себя национальное дело собирания распавшейся было России, а вместе с тем восстановления и увеличения русского международного удельного веса. Странно и неожиданно было наблюдать, как, в моменты подхода большевиков к Варшаве, во всех углах Европы с опаской, но и с известным уважением заго-

ворили не о «большевиках», а... о России, о новом ее появлении на мировой арене.

Другой положительной стороной Советской власти надо признать то, что (опять, как будто, вопреки теории) она была вынуждена создать крепкую дисциплинированную армию, первое условие существования всякого государства, как это ни обидно говорить после неисчислимых жертв «великой войны за уничтожение войн».

Третьим несомненным плюсом в деятельности большевиков надо считать то, что они действительно гарантировали невозможность возврата к прошлому, тому темному скорбному прошлому, которое послужило первоисточником нужды, темноты и озлобленности народных масс, неподготовленности и вялости нашей интеллигенции, всего того зла, которое обрушилось на Россию за последние годы. Эта опасность, хоть и дорогой ценой, но все же к счастью, устранена навеки. И есть возможность заложить новое здание русской государственности на новых разумных основаниях, использовав принципы рациональной организации, а не громоздить на старых, архаических, нелепых устоях новые негармонирующие надстройки.

Далее, в самом факте разрушения есть позитивные черты: мы силою вещей вынуждены отказаться от своей русской безвольности, надежды, что кто-то, где-то, что-то за нас сделает. На краю пропасти каждый должен встрепенуться, сам искать выхода, думать, изловчаться или... погибнуть. Впервые в колоссальных масштабах взбудоражен в дремавших понукаемых массах здоровый инстинкт самосохранения, самый действенный из всех инстинктов; мы уверены, что все значение этого биологического момента скажется в дальнейшем в жизни русского народа, в смысле значительной и положительной перестройки русского характера, и в таком случае уже это одно, быть может, оправдает жертвы и ужасы нашей эпохи.

Наконец, будем об'ективны и признаем, что среди вершителей современных русских судеб есть люди, наделенные достаточным чувством реальности и не враги эволюции. Логика событий неумолимо заставляет их сдавать свои практически неверные позиции и становиться на те, что более согласуются с требованиями жизни; от действий нашей интеллигенции будет зависеть ускорить и завершить этот процесс на благо России и прогресса. Нам возразят — это оптимизм. Да, ответим мы, это оптимизм, но оптимизм не безпочвенный. Более того, если в трудных условиях нам нужно добиться во что бы то ни стало поставленной себе цели — спасения России — то нам необходим опти-

мизм, это состояние духа, дающее бодрую уверенность в своих силах и в достижимости задач.

Итак, мы идем в Каноссу, т. е. признаем, что проиграли игру, что шли неверным путем, что поступки и расчеты наши были ошибочны.

Спрашивается, должна ли русская интеллигенция раскаиваться теперь в своих прежних действиях? Нет, кажется нам ,не должна, так как — по всему — она не могла поступить иначе, чем поступила.

Да и в этом есть положительные черты.

Мы долго и упорно боролись, но зато эта борьба коренным образом изменила нас, она научила любить родину более деятельно, более жертвенно, чем раньше, она отучила нас от глумления над проявлениями здорового национализма, вылечила нас от наивного сантиментализма в политике.

Практически борьба научила нас более деловым приемам, сократила нашу способность к непродуктивной болтовне, сделала более восприимчивыми к более разумным, более экономным принципам рациональной организации.

Затем, в борьбе сгорело все старое, нецелесообразное в России и открылось поле для нового, свежего, разумного. Наконец, надо признать, что если сама Советская власть стала способна эволюционировать в сторону более реальной национальной политики — то это есть тоже в значительной мере результат борьбы последних лет.

Конечно, все эти плюсы куплены недешевой ценой, ценой разрушений, бесчисленных жертв, отставания в ходе культуры. Но увы, ничто в жизни, как индивидуума, так и народа, без жертв не дается. За все приходится платить.

III.

Что же нам, интеллигентам, признавшим свои политические ошибки делать, идя в Каноссу? Что ожидает нас в Советской России? Куда направить наше внимание, силы, энергию? Нам кажется, что главных задач у нас две.

Первая задача — всеми силами способствовать просвещению народных масс, поддерживать всеми способами все, что новая Россия предпринимает в этом отношении, самим проявлять самую интенсивную, самую широкую инициативу. Доходят сведения, что в России наблюдается сейчас духовный голод, о котором мы здесь не имеем и представления, и подобного которому никогда и нигде не наблюдалось. Массы, несмотря на все экономические тяготы и лишения, несмотря на то, что, казалось бы, голодному желудку не до науки, в таких количествах и с таким рвением заполняют всевозмож-

ные аудитории ,библиотеки, школы, посещают беседы — не на политические, а на обще-культурные темы — что не может быть никакого сомнения, что перед нами любопытнейшее социальное явление: начало возрождения, вернее перерождения страны. Здесь перед нами гигантское плодотворнейшее, благодарнейшее поле для работы.

Кроме той части интеллигенции, которая оказалась не в силах оставаться в России и бежала в стан анти-большевистских сил, другой части, вынужденной против воли работать в неприемлемых для нее условиях, и третьей части— идейно примкнувшей к вождям революционного экстремизма, есть еще одна группа русской интеллигенции, неприявшая большевизм, но поборовшая себя и оставшаяся в России из особых жертвенных побуждений. Заслуга этой группы перед Россией и человечеством огромна. Это группа, которая считала своим долгом остаться сторожем возле угрожаемых пожаром сокровищ русского духа, русской культуры. Эти люди считали необходимым, чтобы вблизи русских музеев, библиотек, лабораторий, театров остался кто нибудь, кто бы прикрыл их своим телом в случае опасности, кто бы сохранил нам преемственность русской культурной работы, кто бы, несмотря ни на какие бури, тянул золотые нити русской мысли, русского чувства. И они остались, несмотря ни на что, и они работали среди голода, холода, принуждений, глумлений. Это та единственная часть русской интеллигенции, что не ошиблась, та, что пошла верной дорогой. Да, воистину ее заслуги перед родиной неисчислимы. И вот идти на помощь этой части нашей интеллигенции, усилить ее ряды, снять с ее плеч часть непосильного бремени, продолжать и развивать дело, сохраненное ею — вот благороднейшая задача, которая ждет всех нас, русских интеллигентов, в первую очередь.

Второй важнейшей задачей должно быть самое активное участия в экономическом восстановлении нашей Родины. Для этого необходимо максимальное напряжение во всех областях производства, к которым интеллигенция может быть причастна: она сама должна давать здесь максимум своих сил, она своим примером должна идти впереди остальных масс населения. Надо привить вновь любовь к работе и добросовестность в ее выполнении. Теория, что укрепляя экономическое положение страны, мы «укрепляем позицию большевиков» и будто-бы этим отдаляем момент вступления России на путь спокойного, естественного развития, должна быть решительно отброшена. Как раз, наоборот: в налаженности экономических условий корень повышения и культурного уровня страны и ее политического оздоровления.

Для поднятия экономического и социального благополучия страны одних усилий интеллигенции — даже максимальных, добросовестных — мало, это — увы — наглядно показала практика работы интеллигенции с «генералами». Необходим еще один важнейший фактор — это применение во всех областях новых принципов рациональной организации, тех принципов, которые придают изумительную живучесть Германии, которые развернули выросшую точно из земли мощь Америки; — принципов, для которых характерна поразительная экономия времени, средств, энергии. Здесь нам нечего мудрить, надо безоговорочно, без колебаний, взять то, что есть известного по этому вопросу заграницей и систематически применять во всем у нас в России. Неправда, будто русские люди неспособны к организации, будто у них сердце не лежит к этим, «американским» приемам и методам работы, — возражения, которые нам постоянно приходилось слышать в «генеральском» лагере. A priori, неужели японцы, турки, кто угодно, легко воспринимающие эти методы и вскоре пожинающие плоды их применения, более способны, чем мы русские? A posteriori, практика единичного применения этих методов в России нам показала не только полную ошибочность этих возражений, но более того,—мы видели, как легко, как радостно наша интеллигентская молодежь воспринимала, усваивала принципы новой практической науки, как охотно и сознательно она подчинялась необходимой дисциплине, как сама вырабатывала и вносила дополнение и поправки применительно к русским условиям, каким энтузиазмом, видя успех, загоралась. Нет старым рутинерам, привыкшим танцовать от печки, не мыслящим себе работы без начальственного окрика, без хаотического вороха бумаг, без чаепитий и нескончаемой болтовни в часы работы, без возгласа «гос-по-да офицеры!» вызывающего судорогу застывания в подчиненных, всем этим господам действительно в новой России не место.

Надо быть справедливым и признать, что «большевики» оказались гораздо восприимчивее к новым методам и многое в их успехах, нам кажется, придется отнести за счет этого момента... Не раз приходилось узнавать, работая на Юге, что то, о необходимости чего с пеной у рта приходилось доказывать «верхам» Южного Главнокомандования, за осуществление чего приходилось бороться изо всех сил, теряя время и неся страшные жертвы, оказывалось проведенным в противном лагере и давало против нас свои результаты.

Что же сделать, чтобы ускорить необходимый нам и неизбежный процесс экономического «американизирования»

России, чтобы провести рационализацию методики работы у нас? Кроме серьезного, вдумчивого ознакомления с тем, что есть по этому вопросу в иностранной специальной литературе и практике, кроме создания специальных школ организационных навыков в работе, нам кажется очень важным и желательным, что бы как можно больше русских молодых людей было отправлено на выучку, для ознакомления с этими методами в Америку и Германию, с гарантией использования их знаний по возвращении. Это будет самый скорый, а следовательно и самый целесообразный, и в конечном счете и самый дешевый способ привить России умение работать. Нам думается, вместе с тем, что такой образ действий был бы также самым правильным, самым продуктивным использованием тех значительных сумм, которыми располагают бесчисленные русские учреждения и организации за-границей и которые идут на содержание штатов никому не нужных, все еще никак не могущих ликвидироваться представительных учреждений давно не существующих всевозможных «Правительств», а также на создание всяких исполнительных бюро, комиссий и подотделов партий и учреждений «в отставке».

Одним из важнейших моментов нашей работы в России должно стать наше профессионально-интеллигентское об‘единение, создание коллективов трудовой интеллигенции. То, что было очень трудным четыре года тому назад, по всему должно стать более осуществимым сейчас: сейчас интеллигенция более созрела для своего об'единения.

Жизнь политических партий в России? Мы глубоко убеждены, что с изменившимися в корне условиями обстановки, все партийные группировки дореволюционного времени и первых лет революции идут в архив истории; эти живые анахронизмы доживают последние годы в эмигрантских кругах. В самой России, несомненно, наряду с правительственной коммунистической партией, а отчасти и вопреки ей, нарастают новые группировки на иных совсем началах. Мы слышали уже о крестьянской партии, которую напрасно эсэровские «штабы» намечают себе в качестве управляемого об‘екта. Слышали мы все уже и о массах так называемых беспартийных, этой магмы, из которой выкристализуются в будущем новые группировки. Нам рисуется, что группировки эти будут создаваться не по критерию имущественного ценза — в стране, где имущественные перегородки пали — а, пожалуй, по характеру труда: очень может быть, что кроме крестьянской будут еще лишь две основные партии: — рабочая и интеллигент-

ская. Задачей русского правительства будет согласовать интересы и деятельность этих трех основ государства, и построить на них благополучие страны. Подготовить этот процесс, способствовать его нормальному развитию — вот, нам кажется, задача нашей интеллигенции во внутренней политике России в данный момент.

С. С. Чахотин.

ФИЗИКА И МЕТАФИЗИКА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

«Да и такой, моя Россия.
Ты всех краев дороже мне!
...Россия! Нищая Россия!...

А. Блок.

Трудно любить сегодняшнюю Россию в голоде, крови, грязи и болезнях. Но слишком легко было любить ее вчера, когда в ней была самая белая в мире крупчатка, самый сладкий и белый сахар, самая чистая, крепкая и пьяная в мире водка. Слишком легко для тех, у кого всего этого было вволю. Так в этой нищей России привычно сытно, сладко и пьяно жилось, что, когда вдруг исчезли мука, сахар и водка, показалось, что и сама Россия исчезла. Многим и до сих пор кажется.

Но... «полюбите нас черненькими...»—полюбите Россию красную, другой ведь и нет сейчас.

Трудно, не многие могут; могут Блок, Горький, А. Белый из литераторов, Шаляпин из артистов, Ольденбург из ученых и, кажется, никто из политиков профессионалов.

Кровь липким туманом застилает глаза, ненависть давит на сознание, ненависть за невинно пролитую кровь и на уста так легко просится: «проклятье, вам, большевики! проклятье породившей большевизм революции, проклятье самой стихии революционной — народу».

Кто теперь, вспоминая 5 лет революции и задаваясь вопросом надо ли было «начинать» ее, найдет в себе силы сказать: «Да! начинать!».

Этими словами кончил свой дневник в Петропавловской крепости А. И. Шингарев, один из первых бессмысленно заклканных на кровавом алтаре русского освобождения.

Этот дневник нельзя читать без глубокого внутреннего волнения; книжка маленькая, серенькая, незаметная, есть в ее внешности что то общее с обликом самого автора, но, как и сам автор, она незабываема для соприкоснувшегося с ней. Жутко прекрасная эпоха, усталыми, робкими и испуганными свидетелями которой мы являемся, оставит по себе много памятников грандиозной мощи, безумного дерзновения и безконечной выносливости, явленных русским народом за семь лет внешних и внутренних войн. Дневник Шингарева — единственный за время революции памятник исключительной душевной чистоты, ясной жертвенной любви. Жертвой этой любви он и стал через несколько дней. Но для знавших его нет сомнения, что если бы в списке жертв революции, уже развертывавшемся перед его глазами, Шингарев прочел и свое имя, — он также сказал бы: «Да, начинать!».

Все в истории последних лет можно, при желании, об'яснить случайными и устранимыми причинами. Романовы погибли потому, что не сделали своевременно премьером кн. Львова. Львов уступил место Керенскому, так как не дал Корнилову разогнать Петроградский совдеп; Керенский пал, ибо не решился арестовать Ленина и Троцкого; Колчак поплатился за насилие над эс-эровской директорией. Деникин взял бы Москву, если бы сразу отдал крестьянам всю землю. Бесплодно и ненужно искать мелких и ничтожных причин для об'яснения крупнейших исторических событий.

Нет ничего случайного в неумолимом развитии русской революции.

Постигнуть смысл великой катастрофы не под силу нам, современникам — слишком оглушителен рев красной метелицы, гуляющей по русским просторам; слишком памятен свист пуль, вырвавших из жизни самых дорогих, самых лучших; слишком ясно слышны стоны близких, умирающих от голода, тифа и холеры.

Но самая их гибель обязывает не к ненависти и мщению, а к попытке понять, за что они погибли, куда ведет усыпанный их могильными крестами путь.

Попытаться, без гнева и злобы, разобраться в этом, значит понять, что, потеряв родных, мы еще не потеряли родины.

Ибо, подлинно, светлого Христа видел под знаменем Русской Революции А. Блок. — Не Христос, а Антихрист, совсем похожий, но отличающийся всего одной буквой; так думает разрешить видение Блока С. Булгаков в своих диалогах «На пиру Богов».

В этой, во многом замечательной книжке, написанной в первый год большевизма, есть мысли неожиданные, глубокие, и верные. «Аминь», которым дружно заканчивают свои диалоги все шесть собеседников, свидетельствует, что и сам Булгаков верит нерушимо в русский народ и Христа, пребывающего с этим народом вовеки; а, значит, и в кровавом разливе революции, и в хулиганском кощунстве внешнего безбожия.

Прошло три года, как написана эта книжка, и потому ли, что Деникин не отдал «всю землю всему народу» или потому, что Колчак неуважительно обошелся с Уфимской Директорией, но только все собеседники диалогов очутились за рубежом родины... генерал, светский богослов, писатель, дипломат, общественный деятель и беженец, очутившись за-границей, растеряли многое из своей былой веры в народ. Эта потеря веры—самое страшное из бесчисленных бедствий эмиграции.

На берегах Босфора, в гостеприимных славянских странах, в шикарных залах отеля Мажестик в Париже, русские смакуют вести о холере и голоде в России, обсасывают сладострастно миллионные цифры гибнущих и к ужасным фактам любовно добавляют еще более ужасный вымысел. То серьезная газета сообщит, что в Москве на кладбищах вырывают и крадут трупы и «установлено», что ими откармливают свиней; то почтенный профессор высчитает, что через 17 лет во всей России останется в живых всего несколько сот тысяч человек... Жутко за опустошенные души!

«Интеллигенция погубит Россию!» предупреждали «Вехи» двенадцать лет назад. Интеллигенция губит Россию — почти можно уже сказать теперь.

Но не своей избыточной революционностью, как казалось тогда, а, наоборот, своей неспособностью принять великую русскую революцию в ее единственно-возможных народных формах.

Пора принять на себя ответственность в этом, пора сознаться, что в голоде 1921-го, 1922 и будущих годов есть значительная доля и нашей вины.

Саботаж, а затем сотрудничество чисто пайковое; работа насквозь проникнутая психологией лени и распущенности, как бы освящаемых высшим принципом борьбы с ненавистной властью, во многом являются причиной того рокового для России обстоятельства, что в течении долгих месяцев Советская власть оставалась кучкой фанатиков, окруженных кучей мерзавцев.

Десятилетиями ждала интеллигенция революции, мечтала о ней, как о празднике. Раздувающие теперь «свечу ненависти» к России, ставшей «царством зверя» — Мережковский, Гиппиус и Философов пятнадцать лет назад радостно пели, что:

«Красным полымем всходит любовь.
Цвет любви на земле одинаков;
Да прольется горячая кровь
Лепестками разбрызганных маков!».

А когда пролилась кровь, когда пришла подлинная революция, не узнали ее, отвернулись, бежали от ее пламени с ужасом и омерзением.

Что же произошло? Подмена ли чаемого и призываемого цветения любви «мировым пожаром в крови?». Или вся народолюбивая русская интеллигенция не поняла, что еще пятнадцать лет назад маковым цветом горячей крови зацвела не любовь, а злоба, отчаяние и ненависть? Кажется, так! Кажется, и сейчас еще не понимает.

Надо ничего не понимать в русской революции, чтобы март противоставить октябрю, побившему морозом нежные всходы мартовской любви, исказившему чистый лик бескровной политической революции. Мне кажется, что в 17 году в России вовсе не было политической революции. То что принято считать ею — конец февраля и первые дни марта — были скоропостижной смертью монархии, давно хворавшей гнилостным заражением крови и скончавшейся от испуга при виде голодной вспышки. Не проснувшаяся народная воля убила самодержавие, а смерть самодержавия разбудила народную волю. Только в октябре народ сознательно (конечно, соответственно уровню сознания) воплотил свою волю. Брестский мир и Ленин в сущности являются единственными подлинными завоеваниями революции.

В марте свобода не была народом завоевана, а досталась ему, как наследство от умершей монархии; в октябре он распорядился наследством по своему, как хотел. Ибо в те дни смутное народное сознание действительно хотело вместо Керенского — Ленина. Но никогда не было момента, когда бы оно захотело вместо Николая и Михаила Романовых—князя Львова и Керенского; вместо Государственной Думы по закону 3-го июня — Учредительного Собрания с пропорциональной четыреххвосткой.

Когда волной народной ненависти выплеснуло заграницу остатки служилой бюрократии, поместного сословия

и буржуазии, вместе с ними оказалась и весьма значительная часть интеллигенции, в чистом смысле этого слова. Общность беженства, общность предшествовавших ему переживаний, положили на эту часть интеллигенции тяжкую, но, конечно, временную и поверхностную печать духовного отчуждения от родины ,заразили ее психологией чисто буржуазной. Притом, психологией буржуазии специфически русской — жадной, но ленивой, непривыкшей к самодеятельности и трусливой. Все отдавшей и бежавшей при опасности; мечтающей вернуться, чтобы все потребовать обратно, когда опасность минует.

«Когда большевиков не будет», высчитывает промышленник и определенно заявляет: «мы должны быть на фабриках полными хозяевами».

«Когда большевиков не будет»... неопределенно мечтает интеллигент....и дальше в мечтах провал, пустота. И за радужными мечтами о падении ненавистной власти, умственному взору интеллигента рисуется не фабрика, на которой можно быть полным хозяином, а все более часто вырастает грандиозный призрак всеоб'емлющей анархии, окончательного распадения всех социальных связей, с таким огромным трудом как будто начинающих вновь возникать в России.

Русский интеллигент, всю свою историю отвращавшийся от буржуазности, звание мещанина почитавший сильнейшим оскорблением, вдруг во времена революции не на шутку ощутил себя «буржуем» и бросился опрометью, куда глаза глядят, вместе с буржуазией подлинной. Только теперь, по прошествии многих тяжких месяцев изгнания, эмигрировавшая часть интеллигенции задумывается над парадоксальностью своего положения и все чаще начинает ощущать себя в положении зайца, покинувшего родной лес потому, что «вышел приказ подковать всех верблюдов».

Правда, и зайцу немногим легче, чем верблюду пролезть через игольное ушко коммунистической доктрины. Но сейчас, наряду с неизменной доктриной, изменившаяся жизнь открывает широкие ворота для практической работы на пользу России, и начавшийся уже пересмотр интеллигентских позиций по отношению к Октябрьской революции, неизбежно будет все расширяться и углубляться и закончится естественным, из глубины сердца идущим и действительно об'единяющим, наконец, эмиграцию лозунгом:

«На работу! Домой! На родину!..».

Долог и труден путь назад и первый этап на нем едва-ли не самый трудный, этап необходимого духовного перерождения. Надо перестать строить мысленно русскую будущность по

западно-европейским образцам. Если теоретический, твердобуквенный коммунизм совсем неприменим к крестьянской России, то едва ли более применим к ней и теоретический парламентаризм. Давно, задолго до физического бегства, духовно эмигрировала интеллигенция. «Дома то черно, «страшно»... писал еще Герцен и мечтой перестроить черный русский дом по чертежам Великой Хартии Вольностей полна вся история русской общественной мысли. Даже сама русская община, преломляясь в западнических настроениях, казалась ценной, как трамплин, упираясь в который Россия может перелететь через капитализм Маркса непосредственно... к коллективизму Фурье и Сен-Симона. После 4 лет революции нельзя не видеть, что у России, действительно, «особенная стать». Даже политическим слепцам становится ясно, что «советизм» есть наиболее отвечающая русским условиям форма народовластия; несовершенства и уродливости Советской системы сегодняшнего дня — только зигзаг на верном историческом пути России. Этот зигзаг выпрямится в широкую самобытную дорогу подлинного прогресса, когда вместе с народом пойдет на практическое дело интеллигенция.

Русская революция положила настолько резкую грань на всю историю человечества, что от нее, как от появления христианства или открытия Америки, будут отсчитывать летоисчисление новой эры. После нее на арену всемирной истории впервые выступают народы. Впервые для мировой исторической роли выходит богатейший духовно, безконечно мощный физически 100 миллионный русский народ, лишь теперь в революционной грозе рождающийся как нация.

И пусть первые шаги его облиты потоками невинной крови, пусть путь его усыпан трупами гибнущих от болезней, холода и голода — появление его во всемирной истории — этап величайшего значения. Мы не знаем, что даст человечеству новая эра, но мы должны верить, что век русского освобождения будет веком всемирного ренессанса. Если в дореволюционной России, подмороженной снизу, загнивающей сверху, из солнечной толщи народной души вырывались, освещая века и народы, гениальные протуберанцы: Толстой и Достоевский, Менделеев и Кропоткин, Виктор Васнецов и Врубель, Мусоргский и Скрябин, какие же всемирные озарения даст освобожденная русская душа?!

В глубоких подземных руслах текла река народной жизни. На поверхности шла борьба общества и власти, смена царей и идейных увлечений; под ней дремал древний, родимый хаос.

Нет нужды доказывать национальную типичность внешних форм революции—она очевидна каждому вдумчивому наблюдателю.

В ужасности этих форм одни хотят усматривать не проявление народного духа, а результат инородческих влияний, коими они об'ясняют и всю революцию; другие из разрушительности, дикости и безобразия отдельных фактов революции делают вывод о дикости и аморальности народного духа.

Мы не пойдем за ними. Мы знаем, что чем выше в небо уходят горы, тем глубже и обрывистей пропасти... Знаем, что глубина морального падения, которую легко найти во множестве эпизодов революции — только обратная сторона неудовлетворенности высочайших нравственных запросов, которых не пытался разрешить и даже не ставил себе никогда ни один другой народ Европы.

«Его убить надо... он в Бога не верит» говорят каторжники у Достоевского. Тут вершины и пропасти русской натуры:

— Убивать можно, а верить в Бога должно.

Но не только внешними формами; внутренними своими достижениями глубоко национальна, также, русская революция.

Она на смену отжившим сословиям выдвинула на поверхность русской жизни новые глубинные слои, первобытно-дикие, но зато и первобытно-мощные. Она пробудила в этих слоях волевые импульсы, веками дремавшие без выхода, так что казалось их и вовсе нет в русском человеке.

А воля к власти — опорная точка государственности, которой не хватало в России, чтобы ,как Архимедовым рычагом, силой народного гения, перевернуть старый мир. В русском государственном теле растет позвоночник.

Слишком долго Россия жила развитием головного мозга в ущерб спинному. По неизбежной реакции сейчас равновесие нарушено в обратную сторону, но не всегда же воля русского народа к власти будет выражаться только бунтом, конвульсиями злобы или отчаяния; когда-нибудь она найдет себя в твердых кристаллических формах. а быть может — это выяснят ближайшие полгода — уже и нашла.

Революция дала мощный толчек развитию в народе самодеятельности. Любой, из проживших хотя бы часть этих лет в России, знает по себе ту неистощимую изобретательность, предприимчивость и упорство, которые вырабатываются там в постоянной напряженной борьбе за существование. По мере облегчения материальных условий жиз-

ни, эта упорная предприимчивость обратится в сильнейший рычаг хозяйственного восстановления России. В суровой советской школе население подготовляется к экзамену на экономическую зрелость .Коммунистическая система как бы была призвана выявить к жизни и оформить индивидуалистические, собственнические основы человеческой природы. Для будущего строительства России спекулянт-мешечник, ездящий под риском пули за тысячи верст выменивать ситец на картошку и хлеб, одолевающий при этом десятки препятствий и, несмотря ни на какие декреты, четыре года снабжающий продовольствием крупные центры, право не менее важная величина, чем фабрикант. мечтающий в Париже вернуться в Россию «полным хозяином».

В условиях страшного материального оскудения, главным рессурсом восстановления русского хозяйственного организма явится способность населения к экономической самодеятельности и предприимчивости ,а она налицо.

Налицо и чрезвычайный рост политической сознательности .Нельзя отрицать, что в бесчисленных сельских, волостных, уездных и прочих совдепах, совхозах, исполкомах, профсоюзах и т. д. население приучается самостоятельно мыслить и действовать зачастую в труднейших условиях. Достаточно указать на мало продуманный до сих пор факт существования в 1918—1919 годах Туркестанской советской республики. Абсолютно отрезанные от Москвы, окруженные со всех сторон войсками Колчака, Дутова, Деникина и английской оккупации, лишенные транспорта, топлива и хлеба, большевики в Туркестане сумели до конца. в течении полутора лет сохранить власть в своих руках.

Это ли не пример самодеятельности?! Это ли не опровержение тем, которые думают, что для уничтожения большевизма достаточно с помощью каких-либо штыков занять Москву!

Что бы ни говорилось о полной безответственности советских работников, по мере смягчения напряженной атмосферы гражданской войны, в них неизбежно должно развиваться чувство государственной ответственности. Это государственное воспитание масс, осознание ими дела государства, как своего, близкого и кровного, идет двумя путями: а) вышеуказанным положительным путем практической работы в советских учреждениях, многомиллионные кадры которых состоят на большую половину из рабочих и крестьян и б) отрицательным путем наглядного переживания

массой населения результатов антигосударственной, анархической практики.

В этих тяжких переживаниях до конца исчерпывается революционность и бунтарство масс, которое при революции незавершенной, не разлившейся до своих естественных берегов, всегда было бы неодолимым препятствием к нормальному государственному развитию России.

Освобожденный от мертвых пут монархии, подготовленный к хозяйственной и политической самодеятельности, народ, изжив до конца свою эмоциональную революционность, станет главным решающим фактором русской истории. В этом надежда грядущего.

Но возразят мне, народная самодеятельность задавлена коммунистической властью; национальные цели и ресурсы принесены в жертву Интернационала.

Так ли это? И если это правда, то вся ли это правда? Или народная национальная толща незаметно перерабатывает и интернациональную власть, приспособляя ее к своим потребностям, заставляя служить национальным целям?

Как будто, так.

Этот процесс особенно выпукло представляется во внешней политике Советской власти. Самый язык и стиль Чичеринских нот, столь непохожих на обычные дипломатические ноты, разве не являются они по грубости и прямолинейности своей типично русскими?

Я думаю, что неизысканные выражения, которыми обзывало «хищников английского капитализма» советское сообщение, расклеенное в Москве, после высадки в Архангельске «союзников», теперь сочувственно вспоминаются на Крите и в Египте многими «гостями английского короля».

И однако правительства Антанты выслушивают ноты Чичерина куда внимательней, чем то было по отношению к корректнейшим, верноподданнически антантофильским «политическим делегациям» Колчака и Деникина.

Корень этого явления в широком влиянии Московского правительства на рабочие массы Запада, благодаря чему првительства Европы должны прислушиваться к голосу Москвы. Проходит пора, когда Россия служила целям III Интернационала. III Интернационал начинает быть сильным орудием в достижении национальных целей России. Нигде это не выяснилось так отчетливо, как на Востоке. Коммунизм в магометанских странах — несбыточная мечта, навязчивая идея. Но русское влияние в Малой Азии, Персии, а, отчасти, и в Индии, русская радиостанция и русские военные инструкторы на «крыше света» в Афганистане — реальный факт, крупное историческое достижение России.

Самый Интернационализм Советской власти является национальным по духу, отвечает «вселенскости» русской натуры, еще Достоевским отмеченной, как типичнейшая черта истинно великого народа.

Гораздо медленнее и незаметнее идет приспособление Советской власти к внутренним потребностям национальной жизни.

Под знаком этого приспособления проходит весь после-Кронштадтский период. Начинаясь заменой разверстки натуральным налогом, оно красной нитью проходит через все декреты и действия Советской власти, через все речи и статьи ее вдохновителя и главы. Но если нетрудно было декретировать переход от капитализма к коммунизму, то безконечно трудно, в атмосфере обнищания, голода и разрушения трудовой дисциплины и даже самой психологии труда, провести в жизнь программу интенсивного производства. Надо иметь в виду эту трудность и воздерживаться от преждевременных пессимистических диагнозов о результатах нового экономического курса в России. Несомненно только, что проведение этого курса требует наличности твердой, принудительной власти.

Создать заново такую власть вместо наличной, в условиях голода, эпидемии и паралича транспорта — задача заведомо невыполнимая; уже, конечно, эта задача не под силу интеллигенции, не справившейся с ней в гораздо более легких условиях 1917 года. Три главных грани русского духа последовательно правили на поверхности русской жизни в первый год революции:

Обломовщина — прекраснодушная барская лень и нерешительность, когда все откладывается до новой квартиры, «до Учредительного Собрания» — при кн. Львове.

Толстовство — безвольное непротивленчество, которое «не может молчать», но не может и действовать — при Керенском.

Пугачевщина — беспощадный русский бунт — при Ленине.

Нужна была нечеловеческая энергия и необычайная для русских сила воли, чтобы суметь овладеть пугачевскими настроениями революционного народа, преодолеть обломовщину саботирующей революцию интеллигенции и, победив в грандиозной борьбе полумиллионные армии своих противников, стать фактической Всероссийской властью. Процесс кристаллизации государственности начался вокруг ядра Советской власти не только потому, что ее лозунги коммунизма и интернационализма отвечали одному из основных запросов русской души — жажде социальной

и международной справедливости — но и, быть может, главным образом, потому, что она одна оказалась способной действительно властвовать.

Правда, что интеллигенция возлюбила народ до того, что сотворила из него кумира, но сотворила этот кумир по образу и подобию своему: дряблым, хотя и прекраснодушным, бессильным и безвольным. И именно против интеллигенции, ставшей властью, восстал народ в октябре. В кажущемся безумстве этого восстания была доля высшей разумности, бывшая в безмерности терпения, которую обещали наши предки варягам, зовя их «княжить и володеть».

Скандинавские варяги сумели, плохо ли, хорошо ли княжить ряд столетий, поняли исторические задачи призвавшего их народа и вели его к теплым морям, к стенам Царьграда. Кто знает, пожалуй, и довели бы, не начнись через двести лет их княжения междоусобицы.

Варяги из Таврического дворца начали междоусобицы в первые же недели и, хотя тоже косились на Царьград, но «володеть» оказались уже окончательно неспособны. Органически неспособные к властвованию группы интеллигенции были отметены прочь от власти — в этом смысл октября.

В том, что, не знавшего и не узнавшего народа своего, интеллигента, что то лепетавшего про железо и кровь, вынесло волной событий к чертям на кулички — на Rue de la Pompe в Париже, право не меньше исторической справедливости, чем в Екатеринбургской трагедии.

Народ инстинктивно не принимал монархии последних десятилетий за ее безвольность и расслабленность, ибо смутно чувствовал, что настают труднейшие критические годы его истории, когда потребуется твердой рукой направить к великим целям его могучие силы.

Когда, вместо дряблой царской руки, народ увидел над собой праздно-болтающийся эсэровский красный язык, это было злой насмешкой и, в тяжкие минуты переживавшиеся Россией, грозной опасностью.

Эту опасность народ инстинктивно понял и отшвырнул от себя.

Тема о народе и интеллигенции выходит за пределы этой статьи; сейчас я касаюсь ее лишь поскольку интеллигенция была, хотела, а в некоторых своих группах еще и сейчас хочет быть властью. Став властью в 1917 году, она не поняла народной воли. Народ хотел землю, ему предлагали волостное земство; армия или, говоря точным хотя и опошлившим стилем тех дней, «крестьянство, одетое в шинель» хотело домой, его приглашали к избирательными ур-

нам. И если бы на какие то короткие миги уже не интеллигенции, — ее как таковой нет, она физически и умственно раздавлена в гражданской войне, — а эмигрантской интеллигенщине удалось бы оказаться у власти (ибо *стать* властью она органически неспособна) она бы снова, вместо удовлетворения народных потребностей, предложила избирательный бюллетень.

Ей не было бы другого выхода, ибо немедленно начнется безконечное и безнадежное расслоение на партии, дробление партий на группы, вся та ожесточенная борьба, которую каждый здесь в изгнании так тягостно ярко видит вокруг себя.

Перенести эту внежизненную борьбу в Россию, поставить ее в центре русской жизни было слишком большой опасностью.

Только демагогией можно властвовать в первый период революции — в этом одно из об'яснений пришествия большевиков к власти. Только диктатурой можно сковать анархию и потенциальные возможности революции облечь в определенные формы государственности — в этом об'яснение тому, что большевики у власти удержались. Конечно, и потому, что они явились диктатурой, опирающейся на революционную стихию, в ней самой черпающей силу для ее преодоления.

Два утверждения особенно часты среди идеологов антибольшевизма.

«Только разумная и твердая власть контр-революции, преодолевая анархизм и бунтарство масс, воплощает в жизнь достижимые и национально-ценные задачи революции» — утверждается на правом фланге.

«Советская власть давно обратилась в чистую контр-революцию» — обличают слева.

Признать правильность обоих этих утверждений не значит ли приоткрыть завесу над парадоксальным будущим Советской власти. Не суждено ли ей контр-революционными приемами провести в жизнь революционно-национальные задачи России?

Большевики показали себя достаточно твердыми для этого; окажутся ли они и достаточно разумны?

Советская власть сумела одолеть анархизм масс, теперь она должна преодолеть собственный фанатический утопизм. Судя по многим признакам, этот процесс уже начался. Параллельно с ним, облегчая и ускоряя его, должен идти процесс обволакивания эволюционирующего ядра власти работоспособным и честным деловым аппаратом.

Речь идет совсем не о ловком тактическом приеме, ко-

торым можно ввести в лоно Советской России троянского коня «белогвардейства», чтобы потом изнутри взорвать ее; пора, вообще, перестать взрывать Россию. Дело в использовании единственного пути, которым Россия может наиболее безболезненно проплыть между Сциллой и Харибдой коммунизма и анархии к широким мировым просторам. Это путь совместной практической работы мощного физически и духовного народа, твердой власти и честных идейных интеллигентов.

Народ с безмерным терпением склонился перед силой большевистской власти. Настал момент, когда эта власть должна склониться перед силой народных нужд и всемерно пойти прямо им на встречу; иначе она будет сметена.

Способность на безумное дерзание и готовность на безграничное разумное терпение — эти две черты великого народа за последние годы выявились в русском народе, быть может, более сгущенно и ярко, нежели за всю десятивековую историю его. В продолжении четырех лет народ терпит, но мера и сроки терпения могут истощиться, может произойти страшное столкновение слепого отчаяния масс и слепого фанатизма вождей.

Я не сомневаюсь в исходе такого столкновения, если бы оно произошло: победит народное отчаяние.

Но я сильно сомневаюсь в благодетельности такой победы — надорванный семилетней войной и революцией организм России может не выдержать. Это будет уже действительно «бунт бессмысленный и беспощадный». Зигзаг истории может обратиться в тупик, в котором на долгие годы задержится историческое развитие России. В интересах всего ее будущего надо, чтобы этого не произошло; надо, чтобы народ и власть не столкнулись, а столковались.

«А народная самодеятельность?» уже слышу я...

— А вера в народ?

Эта вера должна устоять против соблазна благословлять всякое народное действие, славословить народ в его данном состоянии. Вера в народ это вера в заключенные в нем возможности; путь полного выявления их — долгий и нелегкий путь. Надо избегать затруднять его катастрофами, постоянной ломкой всего быта. Самодеятельность масс и без катастроф будет находить себе все большее применение.

Принять исторический факт — не раболепство перед силой. Историк может всматриваться в прошлое, политик должен уметь четко видеть настоящее; государственный человек прозревает будущее.

Интеллигенция может и должна только отказаться от всякой предвзятости, воздержаться от столь родного боль-

шевизму «максимализма претензий». Записки Д. Н. Шипова о его, Муромцева, и других переговорах со Столыпиным и Витте, о создании кабинета с участием общественных сил, дают достаточно горького материала для суждения о чувстве государственной ответственности у обеих сторон.

Максимализму претензий, сыгравшему тогда столь печальную роль, решительно нет места в трагический момент, переживаемый Россией.

* *
*

«Первым делом понижается общий уровень образования, просвещения и наук... жажда образования есть уже жажда аристократическая... не надо высших способностей...» сколько раз за последние годы цитировались эти строки в обличение «Шигалевщины» русской революции.

И вдруг на исходе четырех лет сс Н. С. Трубецкой пишет в Софии книгу о том, что «никаких об'ективных доказательств преимущества европейской культуры над готтентотской нет и быть не может»; а западник идеалист П. И. Новгородцев читает в Берлине лекцию о неизбежности «понижения государства и права» как грядущей ступени всемирной истории.

Круг завершился, пройден обратный путь от великолепных чертежей «Magna Harta Libertatum» до родного дома, где черно и страшно.

Домой! В Россию! С сознанием, что перестроить ее посветлей и просторней можно только, считаясь с главным строительным материалом — народом.

Эту тоску о России знали Чаадаев и Герцен, Достоевский и Гоголь... с потрясающей глубиной ее должно пережить все наше поколение в целом. Трудно любить Россию красную от пожаров и крови; но иного пути нет для русского.

Только теперь познаем мы правду предсмертного «бреда» Гоголя:

«Если только возлюбит русский Россию,—возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви... Монастырь наш — Россия! Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте, подвизаться в ней.

Она теперь зовет сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде...».

По роковой иронии судьбы, а, быть может, по беспристрастному и безошибочному суду истории, русское национальное дело можно сейчас делать не в рухнувшей России «Третьего Рима», а в России III Интернационала.

Что можно возразить тем, для которых она только «царство зверя»? Им шестьдесят лет назад ответил Гоголь:

«Друг мой! или у Вас бесчувственно сердце, или Вы не знаете, что такое для русского Россия».

Ю. Н. Потехин.



ОГЛАВЛЕНИЕ.



Перепечатано с оригинала изданного в Праге без всяких изменений.

Главный склад издания:
аводоуправления Полиграфической Промышленности.
СМОЛЕНСК.

Типография Г. С. Н. X. № 2.